

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Михаил
Анчаров

ДОРОГА
ЧЕРЕЗ ХАОС

«АЗБУКА»



Русская литература. Большие книги

Михаил Анчаров
Дорога через хаос

«Азбука»

2026

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Анчаров М. Л.

Дорога через хаос / М. Л. Анчаров — «Азбука»,
2026 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-33920-0

На самом деле все творчество Михаила Анчарова, писателя, поэта, исполнителя своих песен, посвящено именно творчеству. Творчеству как явлению. Творчеству как искусству. По Анчарову, любой человек, будь он хоть трех классов образования, а то и вообще безграмотный, занимайся он конструированием атомомобилей или торговлей на рынке вениками, — таит в себе творческое зерно. Другое дело — даст ли человек этому зерну прорасти и убережет ли он оживший росток, пока дерево не принесет плоды. Неугомонные анчаровские герои: инженер-романтик Сапожников, изобретатель вечного двигателя и много чего еще; Виктор Громобоев, умеющий управлять погодой и называющий себя Паном, богом природного вдохновения и поводырем на пешеходной тропе; Петр-первый Алексеевич Зотов, установивший связь между важнейшими категориями бытия («Не поняв, что есть искусство, не понять, что есть Добро, а что Зло»), — все они, и не только они одни, герои романов, повестей и рассказов Михаила Анчарова, составивших этот том, на живом примере показывают, что творчество не просто работа рук с помощью кисти, карандаша, резца, пальцев, стучащих по клавишам пишущей машинки или фортепьяно. Это прежде всего таинственная работа души и сердца, как бы это сегодня ни прозвучало для кого-то вычурно и несовременно. Некоторые произведения сборника в книжном виде издаются впервые.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-33920-0

© Анчаров М. Л., 2026

© Азбука, 2026

Содержание

Как птица Гаруда	8
Часть первая	8
Глава первая	8
Глава вторая	31
Глава третья	50
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Михаил Леонидович Анчаров
Дорога через хаос
романы, повести, рассказы

© М. Л. Анчаров (наследник), 2026

© Оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

**РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА**



Михаил Анчаров

ДОРОГА ЧЕРЕЗ ХАОС



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Как птица Гаруда

Роман

Часть первая

С перстами пурпурными Эос

Глава первая

Норовы

Вы спросите, кому приснился этот сон: моему петуху или мне? А я и сам не знаю.

Кубинская сказка

*Праздничный, веселый, бесноватый,
С марсианской жаждою творить,
Вижу я, что небо небогато,
Но про землю стоит говорить.*

Н. Тихонов

1

А Витька Громобоев полюбил навеки, и этому не научить. Но и цыпленок хоть и ничему не обучен, однако проклевывается. Потому что живой и срок пришел жизнь вопрошать. Обсохнет и растет до петуха.

И ежели человек отличен от петуха или дерева, то одним только – надеждой стать для Вселенной собеседником.

И значит, человеку до Человека надобно дорасти, дорасти до собеседника Вселенной, поскольку скот не виноват, что он скот, а человек, ежели он скот, – виноват.

Иначе твоя жизнь ушла на кормежку и попусту, и пришедший позднее – что он сделает с твоими плодами?..

Летом пятьдесят первого я вдруг понял окончательно, что в жизни пустяков не бывает и что сегодня пустяк, то завтра – важнее важного.

Потому что жизнь на важное и пустое не делится. Это мы так о ней думаем или другие за нас, но это все в голове.

А в жизни есть жизнь. И если она идет не так, как нам хочется, то неизвестно, как бы она пошла, если б была такая, как нам хотелось.

С Витькой Громобоевым пришли Сапожников и некто Панфилов, которого я еще не знал лично, а только по песням. Я знал, что они придут, но я не знал, что они такие горластые.

– Зло и добро – это действия, значит движение материи, а не сама материя, – говорил Панфилов. – Ходьба – это движение человека, а не какая-то материя ходьбы.

– Ну и что?! Ну и что?! – заорал Сапожников.

– А ты пытаешься свести все к вакууму и частицам! – сказал Панфилов. – А есть еще действия каждого из них.

– Вот! – крикнул Сапожников Панфилову. – Значит, ты, кроме частиц и вакуума, ищешь еще каких-то злоумышленников и праведников в этом вакууме! Откуда? Пришельцы? Инопланетяне?

– О господи! – сказал Панфилов. – Опять эти инопланетяне!.. Почему все уперлись в одну проблему – одиноки мы во Вселенной или нет – и ждут пришельцев... И никто не задается вопросом: а что было ДО этой вашей Вселенной?

– То есть? – спросил Сапожников.

– Если даже допустить, что был первичный взрыв всей собранной в одну точку материи... то возникнет вопрос не только о том, что же было «вокруг», как спрашиваешь ты, но возникнет и мой вопрос: «А что же было ДО этого?..» Ведь если взрыв был, то до взрыва материя была не сжата, а рассеяна и происходило сжатие... Почему же не возникнет вопрос: была ли жизнь до взрыва?

– Интересно, – сказал Сапожников.

– Проще: если наша Вселенная имеет начало, то это потому, что предыдущая Вселенная имела конец. И самое главное, что она была Вселенной. Думать иначе – значит допустить исчезновение материи и возникновение мира из ничего...

– Та-ак... – сказал Сапожников.

– Да, – сказал Панфилов. – И тогда вопрос стоит так: могла ли исчезнуть вся предыдущая Вселенная? Конечно нет. Иначе из чего сложена нынешняя?..

Огромная война кончилась, и сила жизни все прибывала, и каждый чувствовал, что имеет на нее все права.

Работа воскрешения начнет сказываться много времени спустя, но она уже началась.

Чересчур много дорог было заминировано за две тысячи лет боя, и, если мир может быть спасен согласием, он и должен быть спасен.

Земля есть шар, и великие устремления расходятся вверх по радиусам. И это только внизу толковище, а в небесах никому не тесно.

– Вакуум, вакуум, – сказал Сапожников. – Мы о нем ничего не знаем... Нужна хоть какая-нибудь все опрокидывающая модель... Уважаемые офени, товарищи Зотовы, у вас ничего там не завалилось?

– Почему же? – говорю. – Завалилось... Василидова модель...

Тут летний ветер распахнул окна и двери, и за крышами домов блеснуло.

– Стекла побьет к черту! – крикнул дед, пытаясь поймать створки окон. – Витька, дверь! Дверь!

– В чем же ее суть?! – старался перекричать Сапожников летнюю бурю. – В чем суть Василидовой модели?!

Так мы проводили время в пятьдесят первом году – пьяные без вина и богатые без копеек. Хотя неплохо было бы и закусывать.

Моему внуку Генке в тот день было ровно двадцать, и он удрал к нам от матери именно в свой день рождения, потому что устал от семейной любви и нелюбви.

Мы балбеса пожалели и пустили в мальчишник.

Витька Громобоев демобилизовался, но мы его провожали невесть куда, и теперь опять он уезжал надолго, никого не жалея, кроме Тани, матери своей приемной, бабушки нашей, тишайшей и непонятной Миноги, которая в Москву еще не вернулась, а жила, по слухам, в том же партизанском городке.

Мир опять раскалывался, поскольку объединяться против всегда было легче, чем за.

В сорок девятом возникло НАТО, но возник и Всемирный совет мира.

Земля отдалась ливню живой воды, и каждый комочек ее получил свою каплю, и грозу унесло, и хлынул живой воздух.

Была темная ночь. И до рассвета еще далеко. Помойки зверели удивительными запахами, а подворотни – глухими голосами. Я, видимо, задремал под шум споров о космогонии.

Общались два одинаковых голоса:

– Можно ли убивать с верой в Бога?

– Да только так и происходит... Перекрестясь, режут; помолясь, пытаются; отслужив молебен – лютуют и насилуют.

– Неужели никто не замечает?

– Замечают. Однако и здесь есть лазейка... Если смерть – это второе рождение, то убивать можно. Бог послал меня убить, чтобы убитый родился на тот свет. Логично?

– Сердце с этим не примиряется.

– Вот сердцу и верь.

И я начал смотреть глазами и слушать ушами, но поверил бухающему в груди сердцу, которое то замирало тоской, то трепетало неведомой радостью. И все чувства были во мне – и те, что мы называем гнусными, и те, что называем прекрасными. Но чувства эти приходили ко мне извне, и сердце выбирало назвать их прекрасными или гнусными. И я угасающим сознанием еще удивился: а я думал, что чувства приходят не извне, а зарождаются во мне.

– Нет, – услышал я свой собственный голос. – В тебе зарождаешься только ты.

– А кто же я?! – возопил я беззвучно. – Кто я?!

– Все, – ответил голос.

– Как может часть равняться целому?

– Смотри... – сказал голос. – Смотри!

И я увидел строчки неведомых писем, которые дрожали, как надписи в беззвучном кино. Потому что на буквы этих строк все время накладывались буквы других писем. Количество букв в строке все время было одно и то же, но прочесть их было нельзя, потому что письма все время менялись, превращаясь одни в другие, становясь шифром мифа неведомого кода.

Строки извивались, как змеи, дрожали и, пружинисто сплетаясь, вспыхивали беззвучными искрами, и искры превращались в звезды. И я увидел дрожащие звезды, к которым со всех сторон сбегались лучи света, сгоняя звезды в кучи и вихри. А не так, как всегда, когда лучи разлетались от звезд.

И я, Зотов, вижу природный катаклизм, рождение любви.

Наверно, такое было на виноградниках, когда родился Дионис, но казалось, что это было, когда и Дионис еще не родился.

Клонило и трепало ветром кусты, луна скакала по облакам, как козочка, беззвучный хруст стоял в лесу, и листья лепили беззвучные пощечины. Помойки и нужники пустырей переворачивались могучей невидимой рукой, из них сыпалась гнилая сволочь и слизь, громоздилась в холмы и тут же зарастала лесом и подлеском. И меж стволов колюче вставляли на дыбы кружевные олени. И в камышах мелькало гибкое светлое прекрасное тело Сиринги, песенки Тростника.

Все летело навстречу, и ни к чему нельзя было прикоснуться: рука недотягивалась до желанного – еще сантиметр, еще миллиметр, еще микрон, – но рука не дотягивалась.

– Отец, не смотри! – крикнул яростный голос Витьки. – Отец, не смотри! Нельзя! Очнись! Это тебе не надо!..

– Витька, ты полюбил? – спросил я.

– Да, отец, – сказал он. – Навеки.

2

Ах, Зотов, Зотов, старая орясина, когда же это все началось? Может быть, когда Таня ходила к старику Непрядину? А может, еще раньше, когда Петр-первый Таню щупал? В каком же году он Таню щупал? Ах, Петр Алексеич, исторические события надо помнить... Вспомнил? Ага. Это началось, когда брат в лапту играл посереде улицы, а Ванька Щекин заорал:

– Николай-второй, беги!

Колька побежал до черты, а его господин за ворот – цап!

– Тебя как назвали?

– Николай-второй.

Господин ему по шее, по шее.

– За что, дяденька?

– Веди к отцу, а то полицию кликну! – И свисток.

– Не свисти, дяденька.

Пришли к деду. Господин сыщик все выяснил и спрашивает:

– Почему твоего внука царским именем зовут?

Дед говорит:

– Он у нас, Колька, родился вторым, а Петр – первым у нас родился.

– Как это Петр – первый?

– Петька! Спрыгни с сарая! Покажись господину сыщику!

Он спрыгнул, рубаху заправил и говорит:

– Ну чего?

А ростом он был орясина пятнадцати лет.

– Я вас всех, все ваше отродье укуе! Сопливцам своим государевы имена давать!

– Имена по святцам, – говорит дед. – А что Петр у нас родился первый, а Николай вторым – это дело Божье. Имена поп давал, а мы не против.

– Дедушка, – говорит Петр-первый. – Может, ребят кликнуть?

– Не надо... Сам уйдет... Иди, господин сыщик, иди. У нас в семье горе, не до тебя, – говорит дед. – Родной человек помер. А Колька не сам себя назвал, его ребятишки так кличут. Иди, господин сыщик, иди... Места у нас глухие, не ровен час, случится что, иди.

Господин сыщик и ушел.

А дед отвел Кольку за сарай и выпорол.

Лупил и приговаривал:

– Запомни этот день, Николай-второй, запомни этот день... Запомнил? Или еще добавь, Николай-второй?

– За что бьешь? – орет Колька. – Не я виноват! Сами назвали!

– Не за то бью, что назвали, а чтобы запомнил этот день на всю жизнь... Родной нам человек помер, граф Лев Николаевич Толстой, народный заступник.

Стало быть, это приключилось в 1910 году.

С этого дня, как дед выпорол Николая-второго, Зотов начал жить сознательной жизнью и даже мыслить общественно.

Род Зотовых имел происхождение канцелярское. Писарь на фабрике, составляя список нанятых на работу, услышал в конце перечня: «Серегин, Изотов», ошибкой записал: «Серегин и Зотов». И тем сделал деда Афанасия первым в роду.

Дед спорить не стал, время было голодное, а дед был неблагонадежный, поскольку не только переплетал старые книги, но и читал их, что ввело его в гордыню, которая и привела к мысли, что род его не хуже царского.

Кроме Петра-первого и Николая-второго, были еще Александр – третий, Иван – четвертый. И еще царь Афанасий-немой и царица Дуська – на них царских номеров не хватило. Так и ходили нenumерованные.

Афанасий был назван в честь деда Афанасия Зотова, первого в роду, и был немой, а Дуська – в честь бабушки Евдокии, в девичестве Громобоевой.

Дед рассказывал: «Громобоевы же произошли от небесного явления. Бабка нашей бабушки разрешилась от бремени мальчиком, когда в сухую погоду огненный шар пролетел тихо через комнату роженицы и разорвался у колодца. Через некоторое время закричал новорожденный голосом беспредельной ужасности, за что был по совокупности причин назван Громобоем».

А отец Петра-первого, папанышка Алексей Зотов? О нем позже – когда из тюрьмы выйдет.

И в зотовском роду было все, что полагается, – и самозванцы, и дворцовые перевороты, и смертоубийства, и победы. И отличались Зотovy от Романовых только двумя отличками – Зотovy работали, а Романовы нет, Зотovy на войну ходили сами, а Романовы посылали других.

А что касается там образования или разговоров на непонятном языке – то в этом Зотovy от них не отставали.

– Ой, Петенька, не надо!..

– Не бойся, Таня, женюсь...

– А на что жить будем?

– На что все, на то и мы.

А погода была – всем погодам погода! А в журнале «Нива» объявление напечатано про знамение времени – СКОРОСТЬ. А в конце восклицание: «СОРОК ВЕРСТ В ЧАС! КТО ВАС ДОГОНИТ?! СПЕШИТЕ ЖИТЬ!»

А Петра-первого Зотова торопить было незачем. Ему шестнадцать, и Тане Котельниковой – шестнадцать. Отца ее в пятом году забили на фабрике Шмита, а мать к Асташенкову в питейное подалась помой таскать, у Асташенковых дом с ротондой, четыре трактира по всей Белокаменной, и в каждом – по «маркизе». Все маркизы в теле, а жена – тощая метла, ему с ней неинтересно. Сын в университете римские права переписывает, дочь на арфе гудит – ногами обхватит и пальцами вцепится, а учитель над нею: ко-ко-ко... ко-ко-ко... дора, фа-соля, ляси – и за пазуху заглядывает. У всех нужники на пустыре, на одно очко, а у Асташенковых – в доме, фаянсовый, сидячий с синей надписью – на доньшке с лужицей, и ручка белая на цепи. Ей-бо! Не вру. Потяни – все в Язуз унесет! Двадцатый век! Таня рассказывала – она там прибиралась.

– Ой, Петенька, не надо!

– Не бойся, Таня, женюсь...

– А на что жить будем?

– На что все, на то и мы...

Зотов Петр-первый вылез из сарая и спрашивает:

– Дед, почему меня на красоту тянет, как мышшь на сахар?

Дед ответил:

– Потому что наслаждение красотой есть осознание своего развития.

Это Петр-первый уже знал. Его загребли по ошибке, когда ткацкие бастовали. А потом, набив морду, отпустили по несовершеннолетству.

Зотов того господина сыщика на улице подстерег и ввалил ему по той же скуле, что и он ему в участке. Он Петра-первого за шиворот, и Зотов его за шиворот. Он в свисток, а Зотов в два пальца. Он его по зубам, чтоб не свистел, и Зотов ему по зубам, чтоб не свистел, да и вбил свисток ему в рот. Господин сыщик упал, а Зотов ушел.

Тогда господин сыщик пришел не один, и они забрали Петра-первого куда надо, а там господин сыщик бил его ногами. Бил ногами и приговаривал:

– «Воспрянет род людской»!.. Знаю я ваш род, «проклятием заклеянный»!.. Я тебе воспряну!..

Сколько он был у них в плену – Зотов не помнит. Но вот по прошествии времени пришел в узилище дед и говорит:

– Ничего не поделаешь, господин сыщик, будут и тебя ногами топтать.

– Это кто же?

– Да Петька, внук мой... Выйдет из Бутырки и потопчет.

– Рвань несчастная... Мы ж его повесим!

– Ну что ж... и мы тебя повесим... Ничего не поделаешь.

– На власть замахваешься?!

– Зачем же?.. В книге сказано – власть падет в одна тысяча девятьсот семнадцатом году.

Тогда и с тобой свершится.

– Та-ак... Значит, у Маркса вашего на семнадцатый год назначено?

– Господин Маркс журнал «Ниву» издает. Дозволено цензурой с приложениями...

– Ну, мне не крути, не крути... Не про того Маркса речь... Говори, что у тебя за книжка?

– Называется «Тайная мудрость Востока». Предсказание судеб. Тоже дозволена цензурой. Каждные двенадцать лет – поворот судеб, согласно законам зодиака и миротворного Индиктиона. Вот и считай – к одна тысяча девятьсот пятому году прибавь двенадцать – что будет? Семнадцать.

– Антимов! Давай его сюда!

Тут Петра-первого из соседней комнаты вытряхнули, где он разговор слышал, и перед дедом поставили.

– Забирай... Последний раз прощаю.

– Сопляк чертов, – сказал дед. – Сопляк.

– А после семнадцатого что будет? – спросил господин сыщик.

– Третье Евангелие будет... Третий Завет... Сошествие Духа Святого на людей.

– А может, вы старообрядцы? – спросил зашедший в полицию господин журналист Гаврилов.

– Мы новообрядцы, – сказал дед.

– Кто такие?

– Сам знаешь... Рабочие, – тихо ответил дед.

Господин Гаврилов перестал из протокола выписывать разное удивительное и сказал:

– Рабочему надо заработать – это понять возможно. А этих понять нельзя... А может быть, они толстовцы?

– Никто они, – сказал господин сыщик. – Они никто. Пустырь проклятый.

– Пустота... – засмеялся господин журналист Гаврилов, который писал очерки из низов жизни – под Власа Дорошевича, но хуже. – Пустота – это ничто... нигиль... Они нигилисты?

Это он Зотовым-то!..

– Какая же пустота... – задумчиво возразил дед. – При такой теснотище?

– Куча дерьма, – сказал господин сыщик. – Ничего святого... Полное отсутствие нравственной идеи... Так и запишите, господин журналист.

– Нравственная идея – она у отца Иосифа, – сказал дед, – и у вас, господин Гаврилов. Поэтому вы ее на всех поделили – и у каждого от нравственной идеи ошметочек... И потому у нас от нравственной идеи – что с барского стола упало... И «Возлюби ближнего» всегда оборачивается – возлюби вас, господин главноуправляющий. А вы нас – нет, не очень-то... Или не так я говорю?.. Пошли, Петька.

А весна стояла такая, что помойки розами пахли, а пустые сараи – ладаном.

– Дед, неужели на Пустыре ничего, кроме вони, не заводится? И неужели мы пустота?

– В пустоте, Петька, родится творение. Ибо больше ему родиться негде.

– Дед, – спросил Петр-первый, – как же это в пустоте может творение родиться? Пустота – она пустота и есть.

– Поскольку всемирное тяготение не выдумка, Петька, – сказал дед, – то пустоты вовсе нет и пространство заполнено... Однако движение существует, и я до тебя достигаю рукой и дотрагиваюсь... А если движение есть, а пустоты нет, то, значит, и там мельчайшие тела погружены в некую субстанцию, которая и осуществляет их связь между собой, сама, однако, будучи чем-то отличной от них... И в этой неизвестной сущности идет мировой процесс отмены старой Вселенной, прежней Вселенной – поскольку она нелюбимая.

И Зотов это запомнил и записал: «Идет отмена прежней Вселенной, поскольку она – нелюбимая».

Уж Тане с Зотовым жениться пора, а отец Иосиф венчать не спешит, а спешит пройти мимо.

– По церковной записи твой дед Изотов, а по гражданским бумагам вы Зотовы. Безбожники и на исповедь не ходите.

А у отца Иосифа уголовный журналист Гаврилов с господином сыщиком чай пьют. Какая уж тут исповедь? После пятого – семь лет прошло. Поумнели.

На земле царь, и капитал, и в небесах церковь, а где Зотовы помещаются, в Библии не сказано.

И начал Зотов Петр-первый Алексеич сам разбираться в том, как мир устроен и в нем человек по своей вере, по зотовской.

У отца Иосифа дело простое: «Человек раб Божий». И точка.

Петру надоело, и он спрашивает:

– Если все люди Божьи рабы, тогда зачем на земле один раб, а другой – власть?

– Дерзок ты, – говорит. – Несть власти еще не от Бога, понял?

– Понял, – говорит. – Если рабы власть возьмут, то и она станет от Бога. Кто кого. Так?

– Сокрушу! Божьего ошибка!..

– А разве Бог ошибается?

– Вон отсюда!

А уж Зотов знал: если батюшка – дурак, то и это от Бога. На Пустырь толкового не при- шлют.

Он у деда спросил:

– Почему меня отец Иосиф обозвал «Божьего ошибка» и по шее дал?

– А за что дал? – поинтересовался дед и перестал петь про Кудеяра-атамана.

Петр-первый ему поведал, за что схватил по шее.

Дед же сказал, что отец Иосиф дурак и гнида; поскольку пути Господни неисповедимы, то и ошибкам не подвержены, и, значит, не ему, долгогривому, судить Божественный промысел, назначивший им фамилию Зотовых.

А что касается зотовской веры, то, насколько известно, таковая ни в одном реестре не значилась. И потому Зотовы считали ее вполне оригинальной.

Состояла она в следующем.

В Писании сказано: «Вначале бе Слово и Слово бе Бог». И поскольку Бог есть сущность неизреченная, то, как только попытаешься ее изречь, возникает из одного слова – два, между которыми совершается движение. Одно слово «на», другое – «дай». И вся суть человека состоит в том, какое слово из этих двух у него в душе на доньшке, а какое – снаружи.

Без «дай», конечно, не выжить тому, кто хочет сказать «на». Но если человек перешел на сторону «дай», то из него человек вовсе прочь выходит. И это есть закон.

А кто перестает это понимать и упорствует – у того вместо слов возникает болботание.

И как это болботание ни называй – хоть религией, хоть наукой, а все одно – усердие без души и не по разуму есть болботание, которое у Зотовых в одно ухо входило без труда, а из другого вылетало со свистом.

И потому к Богу у Зотовых было такое отношение: хочешь верить – верь.
Зотovy считали – материализм Богу не помеха.

Однажды, в давнее время, был у деда разговор с великим гением русской земли. О таинственной субстанции эфир.

Когда дед ему принес книгу «Алхимию» для обмена по-офенски – с уха на ухо, то Дмитрий Иванович Менделеев рассказал деду, как знаменитая таблица его привиделась ему во сне. А потом дед спросил:

– Так как же, Дмитрий Иванович, все-таки есть эфир или выдумка это?

На это Дмитрий Иванович деду отвечал:

– По логическому рассуждению – должен быть. Должна быть сверхтонкая невидимая материя, которая бы все увязала в одну картину. Однако, чтобы открыть эфир, надо найти некий способ стать от эфира в стороне. Это подобно тому, как нельзя взвесить воду, находясь в воде...

И потому Зотovy спокойно и с интересом узнавали про диковинки природы и научности и не торопились делать выводы, даже если они настырно прыгали в глаза. И спокойно пели: «Солнце всходит и заходит» – хотя и знали уже, что все происходит как раз наоборот.

Был у деда знакомый дворянин, старик Непрядвин, и был у старого Непрядвина сын и телефон. Телефон хороший, а сын – так себе. Дед послал Таню с запиской. Старик позвонил куда надо, и отец Иосиф согласился нас венчать. Но Таня услышала, как сын Непрядвина сказал:

– Папа... какое тебе дело до этой мрази?.. Страшнее русского Пустыря ничего нет... И там нет ничего, кроме вони.

– И магии, – сказал старый Непрядвин. И Тане: – Ступай, голубушка. Скажи деду, что все улажено.

Непрядвины в родстве были с Митусовыми, тоже владимирского корня, как и мы, Зотovy. А Митусовы свой род от словутного певца Митусы считали, что у князя Игоря Новгород-Северского ста'рины пел и воевал, у того Игоря, про которого «Слово о полку» и опера химика Бородина.

Непрядвин Василий Антонович древнего рода и чудесного обаяния был человек. Не то что сын его, ненавистник, белая моль. А как ему не стыдно? Род его такой древний, что и Романовых не видать, мог бы уж и людей полюбить за такое-то время, было когда спохватиться. Отец-то его Василий Антонович ведь сообразил.

Да, видно, у Петра-первого в душе не все уладилось после Таниного рассказа, и если Зотovy за мразь считают, то магия тут при чем? Зотов дед и спрашивает:

– Как же так?

– А они дураки, – говорит дед.

– Кто?

– Они думают, рабочий – это кто перемазанный и машины не боится. Рабочий из своего корня произошел. А что он сейчас в хомуте – то это он от забывчивости. А когда вспомнит – настанет перемена в жизни.

И дед мне такое рассказал, что у меня глаза на лоб и в животе мороз.

– Раб – это волшебник, – сказал вдруг дед. – Раб – это волхв, кудесник-чудесник, чудеса творит... Был старый народ мидяне, а у них главное племя маги, тайное хранили умение и знание про мироустройство и миротворный круг. А главный из магов звался Раб. Высший уме-

лец. Чтобы рабом стать, надо было семижды семь ступеней пройти среди магов. Потом тех мидян полонили. И маги разбрелись. Потому что каждое дурное племя хотело магов в полон взять и приладить к делу. А пуще всего каждый вождек хотел, чтобы сам Раб ему служил, а он бы похвалялся: «Мне Раб служит». Ну, на всех вождей рабов не напасешься, и стали всех пленных мастеров рабами звать. А потом забыли, откуда это слово – раб; и пошло, что раб – живое орудие, машина, и любой пленный стал раб. Да и слово «машина», Петька, тоже от слова «маг»... Теперь гляди – я слова рядом поставлю: раб – это маг, и от этих двух слов, запомни, от раба и мага – работа, рабочий – мастеровой – мастер – маэстро – майстер – мистер – во всех языках. Магистр – маг – волшебник, волхв. И над Христовой колыбелью три мага стояли, три волхва. И слово «мощь», и слово «машина»... И только раб свободен, потому что он маг. И машину рабочий любит, потому что это последнее место, где свобода ему осталась, последнее прибежище: шестеренки прилажены своими руками и своими руками сотворены, – включай, поехали. И потому магия его и есть богатство, а все остальное – ловушка. Вот откуда наш корень и свобода.

И как раз когда отпраздновали столетие со дня нашествия на Русь двенадцати языков с Наполеоном-анафемой, у меня от жены моей Тани, урожденной Котельниковой, сын родился и был наречен Сергей. В честь отца бабушки, Сергея Панфиловича Громобоева.

Венчал и крестил с некоторым отвращением отец Иосиф. А в дверях стоял господин сыщик и смотрел, как сын мой увеличивает земную тесноту. Но господин сыщик был задумчивый.

Ну ладно.

3

В тысяча девятьсот четырнадцатом Зотов вовсе дылда. Книжек прочел много и ни в чем не уверен. Уверен только в том, что он рабочий, а книжки эти офенские, брошенные, тайные, никому не нужные.

А сколько дед прочел, того сказать никто не может.

Событий не было. Лямку тянул, жену ласкал своевременно. Разве что асташенковскую дочку щупал. Сама попросила первый раз – пьяная.

– Потрогай меня, – говорит.

А Зотову что? Ему не жалко.

А второй раз – когда жена не велела Зотову книжки читать: не маленький, сын растет. Зотов тогда огорчился: спяну второй раз асташенковскую дочку щупал. Она ему говорит:

– Пойдем туда. Там сено...

Он протрезвел, спрашивает:

– У тебя что, холуев мало?.. – И ушел.

Она ему это припомнила. Его тещу Асташенков с работы согнал.

– Прощай, – сказал ей. – У твоей дочки муж дурак. А ты мне было понравилась. Мог я тебя в маркизы произвести?.. Мог.

Зотов теще говорит:

– Да у него этих маркиз три штуки.

– Ему виднее, – теща говорит. – А я теперь безработная. А ты дурак.

«Мы-то думали, что только у нас, судьбой потерянных, в каждом сарае собачья свадьба и что свадьбы эти от нашего беспутья. Путь-то наш весь – от фабрики, через трактир да за сараи. А оказалось, что и у всех одно – страх домовины да крест в конце пути с надписью: две даты из календаря и между ними тире – полосочка, и в этой тире – вся жизнь. Будто тропочка

от прихода до ухода. И коротка та тропочка и не заметна никому, кроме того, кто сам прошел, да не скажет. А куда прошел и откуда – о том ли другим людям судить, если сами свою тире протаптывают и торопятся к чужому телу прикоснуться, припасть хоть на миг? Потому что и вспомнить нечего больше в конце тире, кроме тела, к которому припадал в тоске или радости. Больше и вспомнить нечего, кроме хлеба, тела...

– И магии, – сказал дед».

Птицы кричат. Пролетка – цок, цок. Заводская труба черные кудри плавит.

Двадцатому веку четырнадцать лет, а Зотову Петру-первому – девятнадцать.

«Зотовы мы. Мы догадку ищем.

И, видно, без томления нам не жить.

Мы офени, книжники, отреченные, шаромыжники, шарлатаны, ходебщики – книжные разносчики. Забытый ныне промысел и язык.

Почему я из всякого года лучше вспоминаю не события, а споры? Потому что у нас дед был на спор и на бунт скорый.

И я вспоминаю деда, и его мнения, и людей, которые приходили к нему, к токару и переплетчику, эти мнения послушать. И эти люди были не простые шкурники, зверье живоглотное, а души встревоженные.

Бывает, что разговор и есть событие, а все остальное – бормотание. Потому что событие – это со-бытие, то есть совместное бытие, хорошее со-бытие или нет – другого нам ничего не дано. Лучше уж хорошее. Самое большое событие есть жизнь, и перед ней все остальное и близко не равняется».

У Зотова, у Петра Алексеевича, отец с мамой из тюрьмы вернулись.

«У деда и бабушки нашей тишайшей было четыре сына и дочь. Один сын и дочь умерли от голодных родов, некрещенные. Эти не в счет. Трое выжили до возраста и стали Петра Зотова дядьки и отец. Один дядька в четвертом погиб под Ляодунем в японскую, другой – на Пресне в пятом году, и остался мой отец Алексей Афанасьевич, тюремный житель, и мама – его верная жена.

Отец по тюрьмам, мама за ним следом. Вернется мама, родит мне братца или сестру и опять за отцом. Как они там в плену улаживались, мне неизвестно. Лютый до бабьей ласки отец. Весь в меня. Но иногда и отца отпускали из узилища».

Вспоминает Зотов давний разговор отца своего с дедом:

– Почему все сады гефсиманские? – спрашивает отец. – Душа воплощения ждет, а плоть обманывает... Зачем про другой мир загадано? Зачем мечта и томление духа?

– Погоди, Алешка... Разум человека появился, когда сон с явью столкнулся и понял человек, что во сне он живет второй жизнью. И любит во сне, и страдает, и страх испытывает, и белый ужас. И от второй, ночной, жизни он просыпается, а от дневной, первой, проснуться не может. И встреча сна и яви – это есть фантазия. Никогда фантазии не бойся, однако помни, что она всего лишь в голове и потому требует проверки.

Это было в пыльный день конца лета. Это было в день, когда все предисловия кончились.

– ...Магия, – сказал дед.

– Вот это мне, милостивый государь Афанасий Иванович, и нужно, – сказал старик Непрядвин, – в моем собрании этой книжки нет. Не уступите ли?

Стояли они с дедом на чердаке по колено в книжных связках дедова собрания, и на каждой связке бирка привязана была деревянная с номером. А что в каждой связке, дед сам знал наизусть и мог рассказать.

– Мне нравится ваша мысль, что рабы позднейшие – это бывшие маги, – сказал Василий Антонович. – Мне это в голову не приходило... Однако что это за возгласы на улице?

– Асташенков гуляет с маркизами, – встречаю я.

– А-а... Петр-первый... – говорит мне Василий Антонович. – Бастуешь?

– Нет, – говорю. – Вторую неделю работаю.

– Эх, Петр-первый, мне бы твои годы, и я бы забастовал... Я вашего Маркса читал. Мне нравится, что он Асташенковых терпеть не может. И я все бы сделал, чтобы их с горки спустить.

– А на горку кого? – спрашиваю. – Непрядвиных?

– Нет, молодой человек, такой амбиции у меня нет. Непрядвины в Божьем суде свое дело проиграли. После Асташенковых – только маги. Тут мы с твоим дедом в полном согласии... Да только я не верю, что маг – это ты.

– Нашли с кем разговаривать, – сказал дед. – Революционер хренов... У него одни бабы на уме... Ростом жеребец, а душа не шире кошкиной.

– Всему свое время, – сказал Василий Антонович Непрядвин. – Разовьется. Ничто его не минует. Как по-вашему, Афанасий Иванович, война будет?

– Да.

– Вы так уверены?

– Ломоносов сказал: «И горы, ужасные в наших глазах, могут ли от перемен быть свободны...» Пришла пора империи падать, – сказал дед.

Немой младшенький глаза закрыл – соглашается.

А Мария, помощница наша, царицу Дуську да царя Афанасия-немое кашей кормит. Афанасий хотя и немой, а все слышит и, когда вопрошает, глаза таращит, а когда соглашается – закрывает.

– Петь, а Петь, глянь, что это во дворе кричат как?

Пылью рвануло по улице.

Немой наш глаза открыл и смотрит.

В соседнем дворе шарманщик перестал про разлуку.

Вошел отец, руки вымыл, из рукомойника на лицо брызнул и утерся. Обернулся к нам. Мама за сердце взялась.

«Химик Менделеев деду объяснил, что Вселенную заполняет эфир невидимый, но взвесить его нельзя, как нельзя взвесить воду в воде.

Чтобы взвесить воду, надо стоять на берегу, а где у Вселенной берег?

И это я запомнил на всю жизнь и искал берега, когда наступало размышление.

– Война, родные мои, – сказал отец. – С германцами.

А у меня в голове одно проплыло, имя одно: „Мария“...»

...Была у бабушки сестра – Зотову двоюродная бабка, был у нее сын – Зотову троюродный дядька, у него дочь Мария – Зотову четвероюродная сестра. В этом году ей – шестнадцать.

И всей своей кошкиной душой он полюбил эту девушку.

Но он тогда не знал этого. А узнал в один день того жаркого лета.

Девушка гордая, в вере твердая, ручки проворные, телом чистая, глазки синие – они с Зотовым и не смотрели друг на друга никогда: она в землю глаза опустит, а он в небо – ворон считает, так и пройдут мимо друг друга, и опустеет Пустырь, будто и ничего нет на нем, а только на одном краю – монастырь, на другом – нужники в ряд, а посреди песчаные карьеры, куда ночью не ходил бы никто, но бывает – надо.

Мария... Краснела быстро... Такая милая, такой цветок чистый в ихних благоухах, в Пустыре... В церковь и то без провожатого пускать страшно... Назначили Ваньку-четвертого. Тоже грязи не любил, хотел чистой жизни... Однако он вернулся красный, она – белая... Больше его не посылали... Санька-третий – пузырь – стал ходить провожать, свистун. Он, бывало, свистнет – ломовики вскачь. Шпане свой. Возле церкви покантуется, а обратно идти – с этим не тронут.

Видно, дед, магия сильнее у женщины. Называется – стыдливость. Только ждал ее Зотов с иной улицы, а не с Пустыря.

А на другой год был разговор один, и был случай один, и пронеслась зотовская любовь как день один.

Провожали Зотова на войну. Смутился он душой от своей тайной любви.

И вот какой разговор с дедом вышел у него на тех песчаных оврагах и откосах, где Зотов от вчерашних проводов отлеживался.

Открыл Зотов глаза, дед на него смотрит:

– Петька... война идет.

– Ну?

– Увидимся ли, нет, но скажу заветное. – И дед сказал: – Третье тысячелетие на носу, Петька. Первое все ушло на Веру, второе – на Разум... Но ни разум, ни вера не спасли... И перекрестясь, топором быют, и по здравому смыслу пытаются... Запомни, Петька, Поведение – в этой тайне все. Кто откроет тайну Поведения, тот скажет Слово. Остальное же все – болбование. Вера дает силы, Разум – возможности. Но Поведение от них не зависит. Ибо оно есть и у блохи, а у нее ни Веры, ни Разума. Однако любовь у нее есть – блошиная, только она этого не понимает. А мы понимаем – и строим свое поведение.

Зотов такого не слышал еще.

– А святее любви нет ничего... Любовь, Петька, – это и есть жизнь. А все остальное – смерть.

И тут пришло к Петру-первому:

«Да, да! Как же я не догадался? Все записки мои об одном – о любви. И это главное во всем, что пишу и что во мне, и это мое независимое поведение.

Я, Зотов Петр-первый Алексеевич, орясина, и бабник, и товарищ, и согласия ищу, и прикосновения, и ничто для меня не святее жизни, и все это – про любовь.

Мария... Неосторожное счастье мое... Не остерегся».

А уж как Зотов бежал от этого, как бежал! Бегал, бегал да и добегался.

Второй год войны идет. Деньги и совесть подешевели, еда и шлюхи подорожали, а жизнь и вовсе нипочем пошла.

По первому случаю с военного завода токарей не брали. Ну, потом семейная ссора кузнецов Вилли и Николя крутой оборот взяла, и стало ихнего брата меньшого, серую шинель, окопного героя, солдата, хоронить некуда. Взялись и за токарей из неблагонадежных. А за Зотовыми числилось.

Попал Петр-первый в московские казармы под начало ротному древней закалки. Настроение у него было – кулаком в скулу бить. Когда и зубы выплевывали. А на учебных стрельбах лежа ротный через винтовки перешагивал да одному нескладному каблуком переносицу и провалил. Не побоялся. А что ему? На фронт не ехать. Не убьют солдатики. Ему другую роту пришлют. Небиту.

Зотов ждет, когда до него дело докатится.

Выстроил их ротный во фрунт – тянись в линию, ни назад, ни вперед не вываливайся. Пятки вместе – носки врозь, под ремень палец не проткни – распрями плечи, быдло, – и кулаком юшку пускать – изо всего полка лютый зверь, другого такого нет. Вот... вот... к Зотову приближается.

– Что глаза отводишь? Ешь начальство глазами... ешь... – И кулак в сторону отводит.

Зотов со штыком у плеча вперед подался и говорит тихонько:

– Заколю...

Тот поглядел Петру-первому в глаза и понял: заколет.

– Что? – спрашивает.

И мимо прошел. Рассеянно смотрел на красные лица.

Потом вернулся и вдоль покатился.

– Фамилия...

– Так точно! – рявкнул Зотов громко, как мог.

– Тронутый? – спросил ротный. И снова мимо прошел.

После этого он никак не мог разглядеть Зотова – ни белым днем, ни при лампе-молнии, ни в карауле ночью лунной, – все шурился. Зачем было Петра-первого в военный суд и расправу? Кузен Вилли его и так прикончит. У Вилли усы вверх торчат, у Николя вниз повисли, вот и вся разница. И все ротные знали, что солдатам это известно наилучше, особенно кто из начитанных.

Перед отправкой – в баню.

Помылись солдатики, побанились, тела чистые, белые, морды красные, ступни сизые – эй, соколики! Соловей-пташечка, горе не беда... Раз поет, два поет, помирает – все поет... канареечка жалобно поет! Р-равняйся! С-сси-ррна! Наши жены – ружья заряжены! Вот где наши же-оны! Зотов, куда пялишься?!

А вдоль забора Маша идет, Машенька, Мария. Зотов пялится, солдатики ржут. Последний нонешний денечек Москву издали видят.

Ну, братцы!

«Дал я фельдфебелю целковый, и тот меня из казармы на час выпустил, не забоялся. А за казармой роща, а в роще соловьи курские, от войны залетные, и Маша-Машенька, Машенька моя родная, мне не жаль смерть принять, жаль, тебя не увижу, звездочка негасимая. Ничего мне не надо, Машенька, от тебя – женатый я, и дите ждет, и с бабами я путался, грязный я, подворотный против тебя, Машенька, а ты чистота небесная, голубиная. Вот беда, вот где горе мое, но уже год пропадаю я из-за тебя, Машенька, Мария моя.

– И я, Петя, – говорит Мария. Я ей в ноги:

– Прости меня, люблю, и прощай, моя ненаглядная!

Обхватил ее, лицом прижался.

– Сейчас, – говорит Мария и дрожит. – Пусти меня, Петя...

Отпустил я ее, а она на траву легла... Ничего дальше я не помню, помню только, хрипел:

– До могилы...

– И я, Петя... Прощай...

Прощай, звезда моя негасимая. Завтра поедем могилы рыть себе и другим. Траншеи называются...»

– Что есть знамя?! Знамя есть священная хоругвь, которая...

Ну и дальше. Все по словесности. За веру, за одного немецкого кузена против другого немецкого кузена, за Непрядвина, за Асташенкова, за ихнее отечество!

Теплушка колесами тук-тук, сорок человек или восемь лошадей.

Прощай, Мария.

Любовь, магия, жизнь, сущность неведомая.

Прощай, Мария.

4

...А как пришел 1916 год, Ванька-четвертый старика Непрядвина убил, Василия Антоновича. Такие, брат, дела.

Не сам убил и вроде бы неподсуден, но на Ваньке – его кровь.

Колька-второй из типографии деду книжку принес, и там написано: «В терновом венце революций грядет шестнадцатый год». И фамилия – Маяковский. Видно, началось.

Революцию, может, все хотели в тот год, однако каждый по своему интересу. Может, один царь не хотел, да ему и хотеть некуда – началось его царство с Ходынки, Ходынкой и кончится, и что ни делай, а все в одну сторону идет.

Потому что накопилось нежелание людское и никто не хотел, чтоб было как было. Однако хотя нежелание у всех одно, но остальное все разное.

И Петр-первый стрелял и даже видел, как падает человек, то ли от его пули, то ли от соседской – без разницы. И мы их губили, и они нас, и человеческое мясо по траншеям нипочем шло. Но в штыковую он ни разу не ходил – Бог миловал. И как бы он живого человека штыком в сердце ткнул или в живот, он себе представить не мог и содрогался. А так – вроде в землетрясение попал, и никто ни при чем.

Но он видел и таких, кто перешагивал черту и становился мясник, которому интересно, что он не боится человека зарезать, и вроде себя испытывал, и радовался. Но когда и его настигало ранение, то и он был и считал, что боль режет и надрывает его одного, а остальных милует...

Был у Ваньки дружок с Пустыря, Тимофей, закадычный, и была у того Тимофея невеста не невеста, а зазноба. Состояла она в прислугах у Непрядвиных, и Тимофей наметился жениться с форсом. И все она Тимофея учила – время такое, пользуйся, если сейчас с Пустыря гнойного в люди не выбьешься, потом не выйдет: плачь не плачь – Москва слезам не верит. Пустырь он и есть пустырь. Хочешь в городе жить – стремись отчаянно. С Пустыря через Благушу, в центр за Китай-город. Кто умный – слов не говорит, и ему не говорят – сам поймет. Ванька-четвертый да Тимофей были умные.

Они с детства не разлей вода, в чижа играли, в лапту, в свайку, вместе по чердакам лазали и по девкам, вместе на фабрику пошли, на угольный склад. Война идет, им года подходят, Ванька и говорит: «Тимофей, идем добровольцами, наш случай пришел. Георгия получим, в прапоры можно выйти и в офицера».

А в шестнадцатом добровольцев с огнем ищи – не четырнадцатый, поумнели. Их и взяли, дураков, за ихнее зверство. Оружие дали – ура, пошел. И что ты скажешь – через полгода не убиты, не ранены, а получили по Георгию на грудь и отпуск домой на геройскую побывку. Пулей летели – гляди, родня, за Китайгородскую стену шагнули.

Дома дед Ванькиному Георгию не порадовался и тем его обозлил, а у Тимофея иные дела. Пришел пьяный к зазнобе ночевать, а та уж без работы мается, голодует. Он к ней, а она:

– Не надо, Тима, ко мне нельзя.

Но он ее не слушал.

А наутро она ему сказала:

– Тима, теперь у тебя сифилис.

Вот так. А как вышло? Приехал к Непрядвину – старику его племянник из Питера да ночью и навестил прислугу. Уехал обратно, а через месяц у нее сыпь на теле. Непрядвин ее к доктору отправил, там ее на стыдном кресле смотрели и назначили ей сифилис.

Прислугу с работы долой, а от племянника к Непрядвину – письмо с покаянием: «Вы за меня не бойтесь, меня профессор лечит».

Тимофей взвыл – и к Ваньке:

– Пошли Непрядвина искать.

А чего искать: он у деда учение Якова Бёме разбирает.

Дождались ночи.

– Мы, ваше благородие, вас до дому проводим – место глухое, шалят.

Тот Ваньку узнал:

– А, молодой герой...

– Идемте, ваше благородие, через Пустырь, путь короче.

– То-то, я слышу, пованивает... Это и есть знаменитый Пустырь?

– Так точно... А что, ваше благородие, я вас спросить хочу: почему вы, ваше благородие, – благородие, а я не благородие и чем ваш род лучше нашего? – говорит Ванька, а света – ни зги.

Тот остановился.

– Раньше Адама никого не было, – говорит Ванька. – И твой род моего не старше. И выходит, ваш род наш род облапошил.

– Дурак ты, молодой герой, – говорит Непрядвин. – Прочь с дороги.

– А куда прочь? – спрашивает Тимофей. – На войну? А что в окопе от вас передать?

– Передай, что державе нужны все чины, какие в ней есть. Не будет чинов – не будет державы. Не будет державы – всем конец.

– Не шуми, ваше благородие, – говорит Тимка. – А то ведь плюну я тебе в глаза, а я теперь сифилитик. Потому что невесту мою, которая к тебе служить пошла, твой племянник наградил. Сам поскакал к профессору, чтоб чистую барышню не зацепить, а мне наследство. Вот и вся политика.

– Племянник подлец, – говорит Непрядвин. – И каждому свое возмездие. Но ты, сукин сын, из-за личных счетов на державу посягаешь.

– У нас личных счетов две тыщи лет накопилось, третья тыща – наша. Извини, ваше благородие.

И застрелил Непрядвина Василия Антоновича из германского парабеллума.

– Ванька, бежи. Тебе со мной хода нет. Теперь один в офицера ловчись.

Разбежались они. Ванька домой пришел пьяный. Дверь толкнул, а там Мария стоит.

– Каин ты... каин...

А она за ними до Пустыря шла, догадалась, потом бегом домой – деда на помощь, да не поспела.

Ванька ей:

– Цыц! – и лапой рот зажимает.

– Дедушка!

Дед вышел, а Ванька на него свой германский «зауэр» наставил:

– Убью!

А дед ему, конечно, кочергой руку и перебил. «Зауэр» подобрал и видит: Мария по стене сползает и глазки закрыла.

Дед ее на руки взял и говорит Ваньке:

– Убить я тебя не убью, потому что ты моя кровь, но из этого дома я тебя изгоняю. И отныне ты потерял свой род-племя и ты не зотовского Бога сотрудник.

И изгнал дед Ваньку-каина.

Потом, может, в истории нашу жизнь проще запишут – сознательный рабочий, несознательный рабочий. История всегда итоги пишет, чтобы дальше идти. А у человека, хотя душа его до звезды достигает, тропочка его единственная – пешеходная, и никто другой, кроме него, по ней пройти не может.

Народ – это кто друг другу служит. А кто не народ – тот семя бесплодное, на камни брошенное, и каждому его возмездие.

И Мария сказала:

– Каждому свое возмездие. – Да и исчезла невесть куда.

Еды нет, табаку нет, одежда – рванина, дождь бьет, вошь бьет, – гнием. Чует Зотов – домой пора с театра военных действий. А ему во французскую державу ехать приказывают до победного конца. Броневики системы «Рено» – вперед-назад ехай без поворота, руль спереди, руль сзади, а у сцепления конуса плохие – горят. Ну, конечно, паек французский, живи не хочу – бобы, вино красное, буйволиное мясо, алон-занфан де ля не то по три, не то по четыре, о-ля-ля, экспедиционный корпус.

Нет, думает Зотов, домой пора. С чужбины в Белокаменную не выбратся.

Трехлинеечка, калибр 7,65, да жестяной чайник, да шапка барашковая, да граната русского образца. С эшелона на эшелон скак, кусок доели, затворами полязгали, гони, мать твою, – вон она, Белокаменная, рукой подать. Ф-фух-фух паровоз, стоп, тупик, дом родимый – Брянский вокзал.

Дождь моросит, по лужам каблуки хрясь-хруп, хрясь-хруп. По Смоленской площади ветер гуляет. Ордой идут, не в ногу, будто по мосту. И редее ихняя орда московская, приبلудная. Не то дезертиры, не то новой войны участники-сотрудники.

Идти Зотову через центр, через всю Москву домой, на Благушу, – к утру дойдет, может, и подвезет кто.

– Служивый!

– А?

– Крутани ручку.

Грузовой автомобиль на дровяной склад едет, почти что по пути. Однако высадил на Садовой-Триумфальной у сада «Аквариум» – опять заглох. И видит Петр-первый Зотов афиши на тумбах – мать честная, неужто представление? Люди-то живут, а он думал, только стреляют на белом свете.

Часа через три, когда до дому и до своих, любимых, оставалось только пройти Малую Семеновскую, Зотова у Введенского народного дома окликнул Непрядвин-сын.

Ни он тогда, ни Зотов еще не знали, что Ванька-каин в неприядинской крови повинен. Но не любил сынок-офицер всех Зотовых независимо, за ихнюю черную кость и красную кровь и за то, что он, Непрядвин, в Москве и это, стало быть, ничего, а вот что Зотов не в окопе – стало быть, изменник.

– Зотов!

Узнал, сука.

– Стой, стрелять буду!

Глупо, такой день. Петр-первый затвор передернул и остановился. Непрядвин подошел.

– Я тебя сразу узнал, гадину, – сказал он. – Дезертир... Ну-ка иди к свету. Может, это не ты?

Вышли они под фонарь у скамьи подле ворот, а тот смеется:

– Ты, родимый... Защитник отечества. Не бойся. Теперь изменять можно. Достигли.

– Я, – говорит Петр-первый, – не боюсь!

– Ага... Значит, слышал уже?

– О чем?

А он опять смеется и зубами лязгает:

– Р-революция, Р-россия, Тр-ретий Р-рим, р-раз-врат, р-раскол... Знаешь, зачем я за тобой шел? Не догадаешься, Зотов. Читал сочинение Якова Бёме, где он предсказывает грядущее? Знаю, читал... Мне покойный отец говорил.

– Умер ваш батюшка?

– Убили. Тебя не касается... Читал? Не отрицай. Я Непрядвин, ясно?

– Я вашего батюшку не отрицаю.

– У Якова Бёме про революцию что-нибудь сказано?

– Нет, – говорит Петр-первый.

– Может, ты невнимательно читал?

– Внимательно. Я читаю внимательно. От «а» до «ять».

– От альфы до омеги, – сказал он. – Отца убили у вас на Пустыре... Последним его видел твой дед. Я выяснил...

– Что вам от меня нужно, гражданин Непрядвин?

– Твой дед зазвал его... Твой дед достал ему книгу какого-то Якова Бёме... Твой дед зазвал моего отца, и его убили...

– Дед не мог зазвать, – говорит Петр-первый. – К нему сами тянутся.
– Плевал я на него... Он последний видел отца.
– Можно заявить в полицию.
– Полиции нет. Закона нет. России нет. Пустырь...
– Вы ошибаетесь, господин Непрядвин, – говорит Петр-первый, – в России только хозяева проходят...

– Верно, – говорит. – А грязь оседает. Кто был ничем, тот станем всем.
– Кто был никем, господин Непрядвин... А кто был ничем, тот ничем и останется.
– Невелика поправка, – говорит. – Из грязи в князи.
– Все князи из грязи, – говорит Петр-первый. – Господь дунул в грязь – и вот мы с вами друг друга терзаем... А все дворяне из княжых дворовых холуев, из дворни... Почитайте господина Ключевского.

– Равенства хотите, сволочь?
– Нет, гражданин Непрядвин... Лишь избавленья от нищей тесноты хотим и полета души... Это только на земле толковище. А в небесах никому не тесно.

Непрядвин потер лоб, потом вытащил наган. Зотов вскинул винтовку. Тот, подумав, сунул наган в рот.

– Спьяну бы не надо, господин Непрядвин, – говорит Петр-первый.
Тот сунул наган в карман шинели:
– Кто этот Бёме? Жид?
– Нет, давний немец.
– Профессор?
– Нет, – говорит Петр-первый, – сапожник.
– Вонючее отродье, – сказал Непрядвин. – Летать захотели.
– Тело воняет, – говорит Петр-первый, – отмыть можно... Беда, если душа завонялась.
– Как книга называлась?... В память отца спрашиваю.
– «Аврора»... – говорит Петр-первый.
– Как?
– «Аврора», – говорит, – Заря. С перстами пурпурными Эос.
И тут Непрядвин под светом фонаря побелел бинтом и сказал:
– Так назван крейсер, который стрелял по дворцу государя... Его спустили на воду в тысяча девятисотом году... Мы с отцом были на освящении...

И закрыл глаза.

Зотов прислонил его к скамье, но у него колени негнулись. Так и стоял, как штанга.

А Зотов ушел. Этого Якова Бёме он не читал. Только у деда видал обложку и название – «Аврора».

Верующий ли он был тогда или неверующий, Зотов теперь не может вспомнить. Был и верующий, был и неверующий – всяко в жизни было. А только видел он тогда: если есть божье дело, то вот оно, начинается.

А впереди – морячок-парнишечка, клешаи рваные, личико нищей оспой запорошено. У его радости – путь каменист лежит, у его радости – ноги в крови. Позади Пустырь проклятый, впереди – звезда по курсу. Отплыл раб, рабочий, магистр могучий, в ту землю, где человек оправдан, если мощью поделится, огнем своим, сутью своею, свободой своей.

Семнадцатый год, семнадцатый годок... Сколько бы ни рассказывать, не расскажешь. И руками будут разводить, и на счетах подсчитывать, и зубами греметь, и со слезами вспоминать, и все равно ни конца ему нет, ни краю, потому что он был равен Человеку, то есть иначе сказать – Вселенной.

Звезда моя!.. Прости меня за все, прости, если что в жизни моей не вровень было со светом твоим и обетованием. Но я стремился.

5

«Еще раз в жизни довелось мне встретить господина сыщика, и господина Непрядвина, и господина главноуправляющего Гаврилова в 1919 году, и о том записываю.

Удивительно это, но место было узкое, как горная тропа, и нашим коням не разминуться, не разойтись.

Стало быть, я заглянул в замочную скважину и увидел огромную тугую спину человека, который рылся в моем комодке, и понял, что, похоже, нашей разведке амба и хана, если я не смекну, как быть.

Оглянулся я на коридорное окно – ночь, собаки лают, выстрел. Задворки складов, ящики, бочки, бутылки, корзины.

Назад нельзя, там свои уходят проходными дворами, если, конечно, квартал не оцепили. А если не оцепили, то и шуметь нельзя.

Ну ладно.

Вхожу я в комнату и говорю:

– Здравствуйте, господин сыщик.

Он наставил на меня наган.

– Оружия у меня нет, – сказал я и поднял руки. – Я частное лицо.

– Что-то мне знакомо твое частное лицо... Ба!.. Да это ты... – сказал он. – Кто бы мог подумать?

– Вас повесили в чине, господин сыщик, – говорю.

– Заслуги, Зотов, заслуги.

– А жалею я только об одном, господин сыщик, – говорю, – я так и не повидал моря.

– Это мы уладим, – сказал он. – В камере смертников из окна видно море... Ты удивишься: водяная стена стоит торчком до неба, а вовсе не простирается вдаль. Она простирается, когда стоишь у воды, а у камеры смертников высокий горизонт.

Когда уходил я на фронт с Московской дивизией, я думал, что буду теснить их до моря, и я на него погляжу, а может быть, они уймутся, и я лягу на берегу, и буду смотреть на волны и на хранилище воды, и стану думать: вот я видел разруху и голод, и как все это поникшее мы будем поднимать, чтобы стало как надо, но для всех, а не для кого-нибудь из некоторых. Но когда вышло иначе и я по приказу оказался в этом городе, догадался я, что за два последних годочка прежнее ушло все и я уже не хочу, чтобы все ихнее богатство было для всех.

А я, каюсь, не верил, когда наши агитаторы кричали нам о прибытии и эксплуатации только. Я думал: как же образованные, которые свободно читают книги на чужих языках и могут сколько хочешь не ходить на фабрику и поле, не копошиться в нищете и голоде, а читать слова любых мудрецов и праведников? И наверно, я думал, главное сражение они ведут за то, чтобы это доставалось только им. Это, конечно, была их гнусная жадность – чтобы их духовную сытость мы питали и обеспечивали нашим телесным голодом, и все же я понимал их. Я хотел достоинства и равенства, и все же я понимал их жадность – соблазн был слишком велик. Но оказалось, что я как был, так и есть дурак дураковский и простуженные агитаторы, которые кричали нам листовки махорочными голосами, кричали правду, грубую, как коровье копыто.

Нас в камере было двое – я и ученый человек с коротким носом и как бы вывернутыми ноздрями, и я не мог вспомнить, где я видел его. А за окном была водяная стена до неба, и ее перечеркивал чугунный католический крест, такой небольшой, что на нем и распять-то было некого, кроме младенца.

Молодой охранник спросил, лязгая железным глазком:

– Господин Сократ, господин Непрядвин спрашивает, как вы себя ощущаете?
– Пацанчик, – ответил сосед, – передай господину Непрядвину, что народ его не хочет, – значит, он проиграл.

– И все?

– Остальное он поймет сам.

Когда стало глухо, я спросил соседа:

– Я слышал, будто Сократ умер давно?

– Как же это может быть? – удивился сосед. – Сократ бессмертен. Умерло только тело, в котором он временно жил.

– Значит, вы верите в переселение душ, как индийцы? – спросил я. – Или, может быть, вы верите в тот свет, как все остальные?

– Это не вопрос веры, – ответил он. – Важно, как есть на самом деле.

– А как на самом деле?

– Откуда я знаю? – сказал он. – Что обнаружится, то и будет. Все рано или поздно объяснится.

– Выходит, душа есть?

– Есть материализм и есть идеализм, слышал?

– Допустим.

– Чем они различаются?

– Ну?

Расстреливать нас должны были вроде бы пятнадцатого – семнадцатого, а в тот день было только девятое. Лучше, чем в высоком разговоре, провести время между мордобоями было нельзя.

Я было совсем размяк, да сосед меня возвел обратно в люди. Золотой был разговор.

– Меня всегда, – говорит, – удивляло и изумляло даже, почему человек, которому хотят отрубить голову, не пытается задушить палача? И только когда меня первый раз казнили в Жигулях, я понял почему. Человек боится просчитаться – а вдруг помилуют? Он колеблется до последней секунды и все быстрее ждет чуда, и у него наступает паралич души. Стоим, как бараны у хлебного склада, и ждем, когда взвод выстроится и выстрелит в нас. И вдруг добрый человек говорит: „Помирать надо весело, давай за мной...“ – и бежит на солдат. Я за ним, а ноги не сгибаются. Смотрю, еще один меня обогнал – а всего-то шагов десять. Солдаты ружья вскинули, а перед ними офицер – боятся попасть в него. Добрый человек офицеру в ноги, солдат на него, куча мала, я сверху, кого-то за рукав схватил. Выстрелы пошли неважно, тут остальные набежали, – видно, дошло, что терять нечего, один солдат ружье обронил в драке, тут же его кто-то пристрелил. Ну, в общем, не расстрел вышел, а свалка, а потом, у нас винтовок пять штук, у них – пятнадцать. Стрельба, то есть бой. Им-то помирать неохота, а нам все едино. Добрый человек орет: „Бей, коли!“ – и офицера вперед гонит. Наших троих убило, у солдат двоих, а так все больше мимо. До самой воды сражались. Они в лодки, маневр потеряли, а мы по ним – с берега, опять одного убили. Они в воду, а мы в лодки и якобы на тот берег. А сами за поворот и в Жигули, в горы. Через полчаса погоня на ту сторону пошла на буксире. Так и жив.

И я от этих слов воспрянул, и решили мы под самый конец тоже устроить им что сможем.

– А если по одному поведут? – спрашиваю.

– И один дерись насмерть, хоть глаз кому вырви, хоть зуб выбей. Но не костеней. Пусть пристрелят. В драке незаметно.

Я ему говорю:

– Клянусь.

И мы начали проводить время в золотых беседах.

– Ну? – спрашиваю.

– Материя – это то, что есть на самом деле, – объясняет. – И мы можем это ощущать, и материалист знает, что все рано или поздно объяснится.

– Но ведь душа, говорят, невидима?

– И микробы были невидимы, пока микроскоп не сочинили, и молекул никто до сих пор не видел, и атомов, однако химия судит о них по косвенным признакам, и есть таблица Менделеева.

– Дмитрия Ивановича знал мой дед.

– Тем более, – говорит.

– А почему Непрядвин вас Сократом называет?

– У нас с Сократом носы ноздрей вперед и лысины, а все остальное, увы, не схоже. Я попрастрига и после Гражданской буду заниматься аграрным вопросом, я и у них прохожу как Аграрий, и ты, главное, ничего никогда не бойся, потому что, пока не доказано, что души нет, ты имеешь право знать, что ты бессмертен.

Потом опять пришли господин Непрядвин, господин сыщик, господин главноуправляющий с бумагами и едой, а я еще успел спросить:

– Если душа бессмертна, то почему же родные нам души не откликаются и никаких вестей от них нет?

– Потому что каждой душе за свои земные дела стыдно, – успел ответить Аграрий.

Я такого еще не слышал.

На этот раз не сразу били, и мы с соседом поняли, что это, скорее всего, финита ля комедия.

– Ну что ж, – сказал Непрядвин. – Сегодня у вас последний шанс. От конкретных вопросов вы уклоняетесь. Поговорим на общие темы. До вечера есть время найти с нами общий язык. У нас время есть, у вас – нет. Выходим на последний разговор. Допросим друг друга. Разрешаю возражать.

– Кстати, господин Непрядвин, это не игра в разбойники, – сказал Аграрий. – И не полицейская операция... Что из того, что вы нас поймали? Это значит, мы проиграли в тактике. Но ваш тактический выигрыш – чепуха, если проиграна стратегия... Все очень просто. Люди, которые работают, делают машины и добывают хлеб, не хотят голодать и быть неграмотными. Логично?

– Вы их идеализируете, – сказал Непрядвин. – Если они победят, они так же кинутся жрать и похабничать, как мы. Ну не они, так их дети... Или вы этого не опасаетесь?

– Это будут их проблемы, и они будут думать, как их решать... Наше дело накормить голодных и обучить грамоте. Пусть думают, как быть дальше.

– В жизни не поверю, – сказал господин сыщик, – чтобы образованный человек полез в шахту коногоном, а образованная барышня коров доила. Да и вы, их родители, каждый свое дитя захотите в люди вывести. И опять вверх полезут, кто кого. Такая людская природа. Господин Непрядвин жизни не знает – не кипятись, Непрядвин, – а я только жизнь и знаю и людскую натуру. Теории не обучен.

И тут опять полоснул меня страх, не по сердцу полоснул, а по всей моей зотовской душе, незримо связанной с бесчисленными душами погибших рабов и рабов освобождающихся.

– Ну что дрожишь, Зотов? Не бойся, Зотов, я не дьявол, я хуже, – сказал господин сыщик. – Ни дьявола нет, ни Бога. А если человек сытый, то один другого хочет сделать слугой.

Преодолею я страх и говорю:

– Так было.

– Так будет, Зотов, – сказал господин сыщик. – И чем же управлять будете? Рабов – бичами, каленым железом, так вы теперь вроде бы не рабы. Потом пошел страх Божий, геенна огненная, плачь, люби кесаря и кайся. Долго держалось, но поломалось и это. Ныне есть кнут похлеще, невидимый, он же и пряник, называется – рубль. Я спрашиваю: чем замените сво-

бодную продажу души и тела? Кнута вы теперь не заботитесь, а рубль отмените. Чем управлять будешь сытым дитем своим?

– А зачем управлять? – спросил главноуговаривающий, дожевывая сладкий кусок. – Они и государство отменят. Анархия и волки на Тверской, на Театральной площади и на Садовой-Триумфальной.

– Не отменят, – сказал господин сыщик. – Их тогда нормальные соседи сожрут. Не отменят. Чем тогда будете управлять сытым дитем своим? Логично?

– Пожалуй, глупо, – возразил Непрядвин, который до этого молчал. – Рубль для сытого не приманка. Для сытого приманка – достоинство.

Из-за этого слова Непрядвин остался жить, когда все кончилось.

За достоинство, за уважение души его – человек все сделает добровольно. Достоинство.

И я захохотал, и слезы потекли из моих очей, и прошел страх бессмысленной смерти, потому что прошел страх бессмысленной жизни.

– Обманул ты меня, господин сыщик, – сатанея от хохота, сказал я. – Обманул... Не все ты про человека знаешь.

– Приступим к неофициальной части, – сказал господин сыщик.

И они стали нас лупить и записывать вопросы, на которые у нас не было ответов.

– Погодите, – сказал Аграрий, когда они устали. – Дайте я выскажу важную мысль. Пусть она сохранится хотя бы в протоколе.

Аграрий посмотрел на меня и сокрушенно покачал головой, а я подумал: хорошо, что он не видит себя.

– Ну? – нетерпеливо сказал господин сыщик. – Давно пора. Пишите, Гаврилов... О чем же ваша мысль?

– О нравственности.

– Впрочем, не важно... Гаврилов, пишите.

– Пишите, Гаврилов, – сказал Аграрий. – Похоже, что к нравственности нужен иной подход... Не сословный, не классовый, не национальный, не профессиональный, не идеологический, не религиозный – ни одно деление не проходит, когда дело касается нравственности. На сегодняшний день если собрать с поверхности все определения нравственности и отсеять все определения, возникшие в той или другой среде, то на дне останется наипростейшее и наиглавнейшее: как бы ни хитрил человек, призывающий к нравственности, всегда оказывается, что нравственность – это то, что нравится лично ему.

Непрядвин незаинтересованно пожал плечами, а господин сыщик заинтересованно глядел с видом: „Ну? Ну?“ – а Гаврилов строчил. Они отдыхали.

– Он, конечно, не говорит „моя нравственность“. Он говорит – „наша“. Объявляет ее свойством кого-нибудь, от имени которого он якобы выступает. Однако, ежели этот же клан потребует от него самого выполнения того, что он объявляет нравственным, он визжит, и увертывается, и вносит уточнения, и так далее, и так далее... И обнаруживается, что „наша“ нравственность – это то, что ему нравится. Но не в себе, а в других. То есть что его представления о нравственности всегда относятся к другим, а не к нему.

Вот печальная истина и новинка.

И на деле выходит, что нравственный лишь тот, кто громче требует от других, чтобы они нравились лично ему.

– Ну хватит, – сказал господин сыщик.

– Погоди, – сказал Непрядвин. – Покурим.

– А вместе с тем, – продолжал Аграрий, – каждый хочет, чтобы существовало все же некое нравственное целое, частью которого будет он сам.

Все попытки сформулировать единый нравственный закон разбиваются о практические действия людей, увертливо живущих среди тех, кто пытается этому закону следовать.

И невольно приходишь к мысли, что где-то в самом корне вопрос поставлен неверно, неприродно и механически.

Я не знаю, как в других языках, но в русском языке слово „нравственность“ происходит от слова „нравиться“, которое происходит от слова „нравы“, которое, в свою очередь, происходит от слова „нрав“, „норов“, то есть характер, то есть личный способ откликаться на призывы снаружи и изнутри.

И потому „нравственность“, то есть нравственное целое, не делится на одинаковые кирпичики по штучке на каждого, а, наоборот, оно, это целое, складывается из разнообразных характеров – „нравов“ в нравственность общую.

Если я не ошибаюсь и это действительно так, то нужен совершенно иной подход – не унификация людского поведения под один ранжир, поскольку человек не есть унифицированный патрон 7,65-го калибра, годный для любой винтовки русского образца, а также для германского манлихера, а, наоборот, нужно использование разнообразных возможностей разных норовов-характеров для сложного, но единого поведения общества в целом.

Нравственность – это, конечно, гармония, а гармония – это не сумма одинаковостей, а произведение различностей, складывающихся в прекрасное целое. И нельзя от ноты „до“ требовать, чтобы она звучала как нота „ре“, можно только желать, чтобы она занимала нужное место в аккорде.

То есть, приблизительно говоря, безнравственность – это когда человек занят делом, к которому он не приспособлен.

Нельзя требовать от монаха, чтобы он вел себя как Дон Жуан, и нельзя от Дон Жуана требовать, чтобы он вел себя как монах. У них разные норобы.

Если Дон Жуан позорит монаха, то Дон Жуан – быдло; если монах позорит Дон Жуана, то монах – быдло.

– Кто? – спросил главноуговаривающий.

– Быдло. Это тот, кто пытается свой характер, свой норов сделать образцом для других и хочет своему характеру, норову, нраву не надлежащего места в аккорде, а привилегий.

Общественное бытие определяет сознание, в том числе и индивидуальное, это так. Но оно лишь определяет сознание, регулирует, но не порождает его. Порождает сознание природа – ребенок рождается с головой на плечах, и один человек рождается с таким норовом, а его близнец – с другим; бытие станет их норобы определять, то есть направлять, уточнять и далее, но норов дается от рождения. Одинаковость – это иллюзия. И если норов попадает на свое место в жизни, то ему цены нет, а если же не на свое – случайно или по пронырливости, – то тайное чувство неполноценности превращает его в быдло.

И мне кажется, что вся нравственность и безнравственность истекают отсюда.

Может быть, я ошибаюсь в подходе к нравственности с неожиданной стороны, и я приму поправку от кого угодно, даже от умного врага, но только не приму поправку от быдла. Потому что я насобачился его различать под всеми личинами, которыми оно прикрывает свое оголтелое желание, чтобы оно, быдло, было признано образцом.

И потому вам, господин сыщик, цены нет. Вы на своем месте палача. А вы, господин главноуговаривающий, и вы, господин Непрядвин, стали быдлом. И потому – куражьтесь...

Трудно и невероятно поверить, но они переглянулись. Они бросили папироски и переглянулись.

– Мало кто согласится со мной сейчас, – закончил свою мысль Аграрий, когда его потащили бить головой о стенку, – но перед расстрелом терять нечего, и жалко, если пропадет мысль, которую стоит записать хоть в протоколе и стоит проверить. Вы проверьте, и это подтвердится. И главное – запомните.

Я запомнил.

И они стали нас бить, и топтать, и спрашивать, а мы старались прикрыть детородные органы и выли и хохотали так, что и палач, и его быдло не слышали выстрелов за окном, которые нас воскресили.

Когда нас откачали и выпустили с того света на этот, то я в группе захваченных служителей ихнего правосудия увидел господина сыщика и господина главноуговаривающего, но не увидел Непрядвина.

И в суете освобождения и городской перестрелки я без труда затерялся, и поковылял, и пополз к морю, потому что я хотел полежать у хранилища воды, а больше Непрядвину бежать было некуда, поскольку на рейде стояли чужие корабли и вставала заря, с перстами пурпурными Эос.

Я поспел к берегу раньше Непрядвина и потерял сознание, когда увидел, что море стирается, как обещал господин сыщик, но тут же оно начало вставать торчком.

Когда я очнулся, я увидел Непрядвина: он переоделся в штатское и стал совсем серым.

Он мчался к берегу, где его должна была ждать лодка. Лодку он нашел. Миноносец тоже. Но когда он поднял глаза, он увидел на флагштоке миноносца алое полотнище – знак восстания.

Он долго на него смотрел, потом вылез из лодки и побрел в степь.

Но назад пути не было. Оттуда двигалась непонятная ему армия, а город восстал, и туда было нельзя.

Он сел на бугорок и стал смотреть на миноносец.

И стал вспоминать, когда же это сломался его путь.

Плебей оказался талантливей его, и он ударил плебея, который объяснил ему причины Пугачевского восстания.

– Против прирожденных привилегий.

– Ты... ты... – сказал Непрядвин и ударил его.

– Теперь тебе конец, – сказал тот, поднимаясь с пола.

Но конец наступил только сейчас, когда ему в глаза кинулся алый цвет на флагштоке.

А теперь город восстал из подполья, и чужой флот восстал, и наша армия прорвала фронт, и наша разведка была не напрасна, и наши муки, видимо, тоже, и я смотрел на Непрядвина.

Я не понимал, почему не убиваю его, а только караулю. Но пока я караулил, я вспомнил слово «достоинство», которым Непрядвин опрокинул мечтания господина сыщика, и этим словом восстановил меня, Зотова Петра-первого Алексеевича, от ужаса бессмысленного старания жить неизвестно зачем, если бы прав был господин сыщик.

Непрядвин поднял голову оттого, что услышал залпы. На берегу стояли солдаты чужой ему армии и салютовали отходящей в синюю даль алой точке на флагштоке европейского миноносца, серого на фоне воды и неба.

Потом солдаты перестали стрелять и вразброд пошли навстречу Непрядвину, и он увидал их грубые лица пахарей, молотобойцев и разночинцев.

Непрядвин понял, что его ждет, и не стал закрывать глаза.

Все-таки он был человек закаленный в смелости.

Солдаты шли вразброд – от моря, по песку, в степь.

Непрядвин увидел их приоткрытые рты в оскалах угасающей ярости и улыбок.

И не стал закрывать глаза.

И последнее, перед тем как снова потерять сознание, я увидел, что они шли, переговариваясь, все ближе и ближе.

И прошли мимо него».

Глава вторая Осколок рубля

*Вчера шел крупный снег, хлопьями. Как будто потрошили ангелов
в небе.*

Пророков

6

...Гром... гром, слов нету... Слова стали будто каменный град... только ветер помнит Зотов...

Все вынес – бой, глад, смерть, мор, боль, гибель близких, язвы тела и почти смерть души. А чепуху, безделицу – вынести не смог.

Пропали тетрадки Зотова – бумажный клочок.

Может, капля последняя; может, судьба курок нажала, но он не смог.

– Дед, как пропали мои?..

А пропали те тетрадки, когда Сифилитик к деду в дверь постучал еще в девятнадцатом лихом году. Дед открыл, они вошли.

– Значит, книжки ты свои хламные больше моих тетрадок пожалел?

– Те книжки написать некому, а ты, бог даст, все снова напишешь по памяти. Садись и пиши.

– А если б я не вернулся?

– Тогда бы ты был жертва, – сказал дед. Выбило Зотова из бури на островок, в дом родной, в наиголодном двадцатом году.

Вернулся Зотов Петр-первый Алексеевич с крымских дальних высот: Алушта, да Симферополь, да Ак-Булак, да Ай-Петри, да Черное море, теплое и соленое, как кровь, как слеза на щеке. Вернулся из отряда товарища Мокроусова, непобедимого матроса. В горах пекаря тесто месит на брезентовых палатках для лепешек, лошади разбрелись по чаирам на пастбище, на дилижансах пулеметы на луну смотрят. Спустились красно-зеленые с гор, били конницу генерала Барбовича, Буденный от Перекопа шел, так и встретились. Главная часть красно-зеленого отряда – в Красную армию, а малая часть – в банду, в горы, и опять нам эту банду с гор выбивать, по изменникам революции – рота, пли! – эхо в горах чуткое, до сих пор в ушах звенит соколовской гитарой в заледенелой Москве двадцатого страшного годочка, где только мешочки воют да ветер в подворотнях.

– Петя-Петенька... живой вернулся... – Таня говорит: – Может, еще выживем; может, я тебе еще ребеночка рожу... Сынок, посмотри, кто вернулся.

В буржуйке щепки горят, на ней два утюга стоят, накаляются. Таня из чайника утюги поливает, в каморке пар, как в бане, дышать нечем, зато теплее малость, – теперь все так делают. Обои где в сосульках, где пузырями, где лохмотьями, а из-под них газеты старые – ничто их не берет, кроме пожара и клопа.

– И моя мама, да, Петенька... И твой отец... И твоя мама и сестричка Дусенька... Ага... на Семеновском кладбище... А дедушка жив, и бабушка, и сынок наш... и я, и ты живы... и Немой жив... а об Саше, Иване и Коле не слышать пока ничего... и об знакомой твоей, Маше, не слышать ничего... Дедушка распух сильно, а книжки пожечь никому не дал, не пожелал.

– Ничего, Таня, ничего. От смерти уцелели и от жизни уцелеем. Мне паек дадут как красному партизану. Должны...

Опять фортуна в крутой поворот пошла.

У банды в пещере ковры текинские, оружие, спирт да валюты миллионов десять – иностранные бумажки, да николаевскими пятирублевками.

Стали ковры выносить, а в них бомба заложена. Рвануло Зотова золотой казной на тот свет, но очнулся на этом со спиной развороченной и душой. В госпитале спину зашили, осколки вынули, кроме одного, подле сердца, – не решились. Фельдшер говорит:

– Ты теперь богатый, Зотов, осколок-то золотой.

– А много золота? – спрашивает Зотов.

– Нет, – говорит. – Рубля не будет, копеек на тридцать.

Дали Зотову спирту на дорогу, семечек мешок, мандат на кормежку и отпустили вчистую по эшелонам беспутно скакать на родину. В Москве работы нет, еды нет, дров нет, мороз есть, бандиты есть. Сифилитик гуляет. Здравствуй, красный партизан непобедимого отряда. Здравствуй, Пустырь, здравствуй, монастырь. Здравствуй, Семеновская застава и кладбище, как вы тут жизнью уцелели? Дед говорит:

– Ты хоть поздоровайся... А спирт отдай, Таня сменяет... Да и хватит с тебя.

– Ничего, дед, за еду не бойся. У меня в спине золотой запас схоронен, у самого сердца. Надо будет – отдам не глядя. Проживем. На, сынок, семечки. В них есть вкус. Защити меня, мальчик. Защити меня от меня. Больше никому.

А мальчик как каменный.

И пало на Зотова отчаяние, будто камень-алмаз непомерной цены. Блестит в глазах голодными молниями, переливается прозрачно, а сквозь него не видать ничего, кроме ледяного неба.

Отца убили под Белой Церковью, мама под колеса попала, уголь подбирала, не слыхала, как состав пошел, царица Дуська – от болезни живота, тоже на Семеновском кладбище схоронили, где мама, и отцов брат – по пятому году, и Танина мама – по двадцатому. Колька с Санькой воюют, Иван бандитом пропал, Мария сгинула, Афанасий – немой, записки Зотова каменным ветром унесло, и что думал, что прожито – нет его, будто и не жил. И осталась от рода Зотовых одна морозная пыль, вот и вся магия.

– Не вся, – сказал дед. – Я с бабушкой, да ты с Таней, да сын твой Сережка, и мы не пыль, Петька, а нового миротворного круга семья.

Серега вырос, Зотов его и не знал толком. До пятнадцатого года, когда Зотов на германскую пошел, мал был, в двадцатом – снова привыкать к мальчонке.

Обнял. А он как каменный.

– Это не он каменный, это ты каменный, – Таня говорит. – Он тебя боится... Ты по ночам кричишь. Подожди, придет лето – отгад.

Лето пришло, Зотов спит. И чудится ему, будто на него дышит кто-то – коротко, как щенок.

Зотов глаза открыл, Сережка от него отскочил. Смотрит. Зотов ему:

– Ты что, сыночек?

А он:

– А как убивают? Я не видел.

– Зачем тебе?

– Ты кричишь... мне тебя жалко.

Запер Зотов глаза на замок и ключ бросил в бездонный колодец, чтоб не видел сын, чего человеку век бы не видать.

– Не закрывай глаза, – говорит он. – Не надо.

Открыл Зотов глаза и спрашивает:

– Лето, что ли, пришло, сынок?

– Лето.

Как зиму и весну прожил, Зотов не помнит. Посмотрел он на сына, а он бледненький, как папироска.

– Сынок, бумаги где достать?

– У деда много. Принести?

Ради тебя, сынок... ради тебя.

– У тебя в спине пуля засела?

– Нет, – отвечает Зотов, – осколок рубля. А откуда бумага-то?

«...Непрядвин, скорее всего, у Сифилитика те тетрадки мои добыл, потому и лютовал особенно в последний день своей дороги...»

– И краски есть, – говорит сынок, – фирмы Досекина. Я на складе набрал, а дед бумагу отнял.

– Какой склад?

– Сгорел склад.

Ради тебя, сынок... ради тебя... и ради норова своего.

И стал Зотов заново писать год за годом все десять лет своих, необыкновенных для него воспоминаний, не то случайных, не то приказанных ему неведомым приказом.

И когда дожил он снова в мыслях своих до девятнадцатого года, до камеры смертников с высоким горизонтом, и когда пришел ниткой кусок из протокола, им выданный, где Аграрий раскрыл о том, что нравственное целое есть гармония норовов, стоящих, как нота, каждый на своей строке, и что быдло есть фальшь и кураж, Зотов был рад, что написал и сохранил все это, потому что этим и уцелел душевно в двадцатом голодном и скорбном году, и понял о себе, что от норова своего отказываться не станет и не след, а станет искать свою строку, а куражиться не будет, но и над собой не даст и что он потому не быдло и быдлу с ним не совладать.

...Прижмись, Таня, поближе. Согреешься. Сынок мне бумагу уворовал. Склад сгорел, а бумага цела. Говорят, будто Асташенков вернулся и снова с маркизой, а я теперь богатый, – моя очередь.

7

Свирепую ту весну век не забудет Зотов, скрюченные пальцы ее погоды тянутся к горлу, хотят дыхание пресечь.

Ходили с войском подвалы обшаривать – не спрятан ли хлеб или золото, но находили дерьмо и книги, смерзные талой водой. Весна то туда дернется, то сюда. Вдох, выдох, вдох, выдох...

«А подвалы грохочут, а штыки кирпичи скребут, и я прохожу мимо мерзлых книг, спотыкаясь о каменное дерьмо, и не могу те книги взять с собой и отогреть осторожно, потому что нет у меня дров даже для рождения ребенка моего и Таниного...»

– Повидать бы хоть, какое оно, теплое море... – говорит Таня. – Петь, а оно правда – черное?

– Синее.

– А почему Черное?

– А хрен его знает... Ты потерпи, потерпи... Не трясет?

– Петя, надо бы мне дома рожать. У чужих людей страшно.

– В родильном доме все же доктора под боком и топят.

– А в доме бабушка... Петь, не молчи, Петя, не молчи...

– Я не молчу. Я семечки лузгаю».

Потом семечки эти Зотову боком вышли, когда ребеночек в родильном доме замерз.

Были роддому дрова выписаны, да по дороге к роддому и сплыли. Двое с наганами подошли, возчика кокнули, а дрова увезли.

Возчика нашли, сани нашли, даже лошадь нашли, что удивительно, а дрова немеченые, как узнать, откуда у Асташенкова дрова взялись? «Купил, – говорит, – у каких-то двоих, имею право, согласно новому закону, – предприимчивость поощряется». Не докажешь.

Пришел Зотов в родильный дом и молчит.

– Поговори, Петя, со мною, – просит Таня, – а то только желваки катаешь.

А он не то что говорить, дышать не может. Вытащил семечки, лузгает, а лузгу – в кулак.

– Вот какое наше дело, – говорит Таня. – Сыночка назвать не успели... Приходим неименитые, уходим безымянные... А как Асташенковы поживают, Петя? Не оскудела русская земля Асташенковыми, Петя? Тепло ли им от моих дров?.. Что же ты молчишь, военный герой? Ты ведь никак победитель? Скажи что-нибудь, если сердце твое не каменное. Или нет его у тебя, а только семечки на уме?

И отвернулась к белой стене.

– Таня...

– Уходите, отец, – говорит старушка. – Иначе будете вдовцом... Звери бесчувственные... Семечки – подумать только!

Он ушел.

А когда привез жену из родильного дома, Таня на Зотова смотреть не может. Долго не могла. Пока от бабушки не дозналась насчет бесчувственных семечек.

– Ошиблась ты, Таня, не бесчувственный он. Ему доктор велел курить бросить, когда из родильного приедете, ради здоровья сына и твоего, Таня. Ему и так-то бросить невмоготу, а в горе как? Для мужика табак пуще хлеба.

– Значит, он потому семечки-то?

Бабушка ей руку на голову положила.

– А теперь поплачь, – говорит. – У тебя мужик живой и первый сын. У других-то – сама знаешь. Вон мои детки – все побиты.

Таня стала плакать и оттого выжила.

...Потом Зотов Петр-первый много причин узнал – и всемирных, и российских, и московских, и личных, из-за которых и Гражданскую одолели, и голод невыносимый, и выжили, и древо жизни опять вверх потянулось и стало одолевать смерть. И он согласен, что причины эти были правильные и важные, но и он сам для себя главную причину узнал.

А главная причина – вера, что работа – это и есть свобода.

Вот тайна, которую знают Зотovy.

8

Наводнение, наводнение.

Дома серые, как на фотографии из газеты, и деревья, и снег между ними, и галки на заборах, и вода плывет между галками и заборами, и все-таки – весна, и мокрый воздух, и жажда жить. 1922 год.

...Пролетка подъехала, галки кричат, талая вода на крыльцо заплескивает.

Вошли, поздоровались. Кучер сверток втащил – видать, тяжелый. Из оберточной бумаги наборная ручка торчит. На стол поставил. Маркиза на табуретку села.

Началась четвертая Маркиза еще в пятнадцатом году, в германскую, когда у Асташенкова уже ткацкая фабрика была в компании.

Перед воротами всегда шарманка играла, когда рабочие домой шли, – Асташенков нанимал.

И были две подруги – последнего класса гимназистки, девки на выданье, когда мимо музыки шли – останавливались. Одна подруга как услышит шарманку, так по-французски поет

да иногда и танцует – чтоб люди видели. А другая стоит и смотрит молча, только переминается ботинками, затянутыми высокой шнуровкой.

Однажды Асташенков проезжал. Пролетку остановил и смотрел, как одна подружка танцевала и смеялась, потом перестала. И Асташенков поманил ее к себе. Но она показала ему язык и ушла, пальцами пощелкивая. И дальше про нее писано не будет. А другая осталась. И смотрела на него. Асташенков оглянулся и увидел: красавица. Он очнулся, нахмурился и ей кивнул. Она подошла и спокойно так поставила на подножку ногу в тугом высоком ботинке. И – пропал Асташенков. Первый раз пропал. У него их три было, маркизы, эта – четвертая.

Потому что эта Маркиза уж больно хороша была, из гимназисток, развратная красавица.

Лицо было круглое, но прочное, не кисель. Нос короткий, рот – вырезной. Глаза большие и прямо на тебя смотрят. В ушах – сережки-капельки, или золотые, или камешком. Потом стала длинные носить, кистями в искорку. Ее хоть в полушубок обряди, хоть в бальное, хоть в монашеское – все одно будто голая.

В любой женщине есть большая или малая, но все же загадка. А у этой Маркизы – никакой. Тем и страшна была – каждый мужчина в азарт входил ей душу зажечь, да и сам зажигался. На том и горели.

– Пропал Асташенков, – ржали на Пустыре.

А потом революция – одна и другая, потом Гражданская, потом голод, потом продразверстка, потом нэп, каждый год как жизнь и как смерть, и вот уж Асташенков вернулся и вновь богат и возможен, и всех маркиз как ветром сдуло, а с четвертой они опять встретились, как с судьбой.

– Разверни, – сказал Асташенков кучеру. Тот со свертка бумагу ободрал, не жалея, а там деревянный футляр, коричневый, лаковый.

– Невестку позови, – сказал Асташенков. – Подарок ей.

– Таня, выйди. Тебе гостинец, – окликнул дед.

Таня вышла, увидела футляр и ахнула. Асташенков футляр отстегнул – швейная машинка «Зингер», черная, и буквы золотые.

– Слышал я, ты портниха... Паша Котельникова говорила, царство ей небесное. Бери инструмент.

– Погоди... – сказал дед. – Как понять?

– Бери, – сказал Асташенков Тане. – Сейчас твоя работа пойдет. И заработки, и клиенты приличные. – И кучеру: – Иди прочь, надымил. Пролетку бы не угнали.

Кучер плюнул длинно на сигарку, кинул на пол и вышел.

– Вот хамье, – сказал Асташенков. – Ну что обмерла? Уноси.

– Погоди, Таня... – сказал дед. – Ну а чего ж ты хочешь за дорогой подарок, товарищ хозяин? Денег у нас нет.

– Работой расплатится, – сказал Асташенков. – Жене pošьет, племянницам. Маркизе вот, если попросит.

В том году будто полегчало. Конечно, барыги с цепи сорвались, но и по-старому было нельзя.

– Моды я принесу, – заверила Маркиза. – За это плата отдельная.

Не поверил дед ни одному слову и все ждет.

– А почему Таню выбрал? Портних не стало?

– Почему, почему... – сказала Таня и в машинку вцепилась. – Мама им рассказала, как я могу шить.

– Ну?... – говорит Асташенков. – Чего непонятного-то? И к тебе дело есть, Зотов. Мне в библиотеку чего интересного достанешь – неси, понадобится...

Ну вот, проясняется.

– Мне и сейчас одна нужна.

– Какая же? Иди, Таня...

Таня футляром накрыла машинку, чудо сияющее, и унесла прочь, как перышко: своя ноша не тянет.

– А нужно мне – Мани, манихейцы, – сказал Асташенков. – В русском издании.

– Что это тебя на философию кинуло? Или на ересь? – спросил дед.

– Да не меня, – сказал Асташенков. – У нее брат журналист. Ему для работы. – И кивнул на Маркизу.

«И веришь, Петька, накатило на меня каприз, как на беременную бабу. Чую – нельзя давать. Почему? Не знаю. Но говорю: „Нет у меня“».

– Ладно врать. Не жидись. Я всех букинистов обошел, Миронов сказал: у тебя есть.

А Миронов любую книгу помнил, если мелькнула. Знаток наивысший у букинистов.

– Господи! – сказал дед. – Шуму-то! И книга не старинного издания. Адвокаты читали да зубные врачи.

– Да вот видишь, понадобилась ее брату. А у тебя есть.

– Нет, Миронов великий знаток, а и он не Бог.

– При чем тут Бог? – сказала Маркиза. – Назовите цену. У вас же она есть!

– А я говорю – нету!

– Вот что, не дури, – сказал Асташенков и оглядывается. – А Петька твой где, красный партизан?

«И тут до меня, Петька, дошло...»

– Великий Мани, значит? Манихейцы? Сильно нужно?.. И брат журналист... И бабу привел... Не иначе Петьку, бабника, охмурять... Тане «Зингер» принес...

А за дверью глухо. Таня притихла как мышь и не дышит.

– Таня ни при чем, – сказал Асташенков. – Это дело отдельное.

– А нету Петьки, – говорю, – на бирже воюет.

Они засмеялись облегченно – сначала Маркиза, потом Асташенков. Смекнул, что работы нет, тоже заулыбался.

– С кем воюет-то? – спрашивает.

– Похоже, что с вами, – говорю. – С тобой, Асташенков, и с тобой, красавица.

– Нет... – сказала Маркиза. – Мы невоюющие...

– Верно... – сказал дед. – Вы гнездящиеся.

Смех медленно умолкал, и улыбки деревенели.

Начиналась обыкновенная злоба, но они еще удерживались.

– Ладно, старик, – сказала Маркиза. – Не говори пустяков. У нас есть книжка, перед которой и ты не устоишь. Мы меняться пришли.

– Да нет у меня манихейцев, нету!

Она развернула книгу, перед которой у деда дрогнули колени. «Родословная дворян Непрядвиных». Издания 1914 года. Вот какая это была книга. А на Иване-четвертом, бандите, – непрявинская кровь. Голубая.

Голубой переплет твердой бумаги с якобы рваными краями, а внутри желтоватая твердая бумага, тоже лохматая, как бы старинная, с четким шрифтом и фотографиями с масляных портретов, под папиросной бумагой, никем не искуренной.

И замелькали выписки из летописей начала тысячелетия и высочайшие указы о продвижении по службе и наградах в конце тысячелетия. А в конце – приложения из домашних записей, почитавшиеся важнейшими. Последним был портрет – не картина, а фотография Василь Антоновича в звездах, и было сказано, что он славен коллекцией резной кости и редкими книгами по философии и метафизике. При всем расположении к деду никогда бы Василь Антоныч такую книгу деду бы не вручил. Потому что рядом с петровскими, екатерининскими и николаевскими алмазами и чинами самодельный философ-офеня был старьевщик.

– Да... – сказал дед не притрагиваясь, а только глядя, как Маркиза ловко шелкает картонными листами, будто козырями в тягостной колоде, и бормочет оглавление. – Перед такой книгой мне не устоять... Но нет у меня манихейцев.

– Так возьми же ее и дай нам, что просим! – крикнула Маркиза и швырнула деду книгу. Книга ударилась корешком и рассыпалась. Дед встал на колени.

– Нет у меня того Мани и манихейцев, – сказал он.

И дед... Господи!.. Стал ползать на коленях, собирая твердые тетрадки родословной рода Непрядвиных, в камзолах, фраках, мундирах и алмазных звездах, и на первой странице была выписка о словутном певце Митусе, волхве, о котором догадка была, что он великое «Слово о полку Игореве» сотворил.

Старческая высота ползала в грязи талых следов, а на нее сверху смотрела низость, чистенькая, как кокарда.

– Пойдем, – сказал Асташенков и взял Маркизу под локоть.

– Книгу забыла, – сказал дед и отодвинул на чистое место родословную книгу.

– Да кому она нужна! – сказала Маркиза. – Оставь себе, старый хрыч!.. В ней – все, что осталось от дома!

Шагнула к дверям, поскользнулась на кучерском длинном плевке, передернулась мучительно и – вытерла ботиночек о родословную.

– Убью! – крикнул дед таким голосом, что они отшатнулись. – Низменная стерва!.. Вон!.. Не то Пустырь кликну!..

Дед подвернул нижнюю губу, и Маркиза заткнула уши, чтобы не слышать разбойного свиста Пустыря.

Маркиза пятилась к дверям. Простучали ботинки по крыльцу. Потом пролетка взвизгнула рессорами, и все четверо – лошадь, кучер, Асташенков и Маркиза – рванули вскачь, расплескивая серое наводнение окраины.

«– Дед, что же это было? – спрашиваю.

– Красавица, – задумчиво сказал дед. – Ошибался я насчет Маркизы. Есть в ней тайна.

– Какая, дед?

– Тайна низменности.

– Дед, а почему ты не дал им этого Мани?

– Незачем... Они и так хороши, – сказал дед. – Манихейство в малой шкапе... Вот ключи... Прочти.

И я прочел таинственные рассуждения Мани, неведомо на чем основанные.

– Мани был истинный маг, однако был погублен персидскими магами, поддельными, – объяснил дед. – И с него с живого содрали кожу. Сей Мани замечателен тем, что он один из всех, о ком я знаю, – двойной дуалист. Обыкновенно говорят, что есть две сущности – плоть и дух, а добро и зло – это есть их признаки. А Мани сказал, что точно плоть и дух – это две сущности. А зло и добро – вообще миры, навеки разные... Разные вселенные, Петька... Нет, ты понимаешь, парень, какое наиграндиозное предположение? Две вселенные существуют рядом, и в каждой две сущности – дух и тело...

– Да... – говорю. – А как у него насчет единой причины для двух миров?

– С этим у него все в порядке, – сказал дед. – Он считает, что ее нет.

Поразили меня эти два мира, извечно пересекающиеся.

– Значит, ты думаешь, что Асташенков и Маркиза свое происхождение ищут? Из другой вселенной?

– Ну что ты? – сказал дед. – Дело, видно, у них вполне земное... Но что-то их обоих в этой книге свербило... Там написано, что поскольку природа добра истинна и едина, то зло из добра не вытекает, а значит, они есть отдельные свойства. И значит, они происходят из отдельных

миров... И это есть главная мысль Мани, смущающая своей определенностью и внезапностью суждения... Знаешь, Петька, приглядывайся к пустякам... Бывает, пустяк – окошко, оттуда ледяной ветер потянул, и, хотя видно откуда, не веришь догадке.

– Да-а... – говорю.

– Вот так-то... Золото предлагали, – сказал дед.

– Врешь!

– Считаю за счастье, что ты офенским шкапам хранитель, – сказал дед, – ибо в них вопросы, а не ответы... Карл Маркс сказал: нельзя выкидывать старые ответы вместе с вопросами, которые их породили. Решения устарели, а проблемы не делись никуда.

...Черт! Из ума нейдет – что им на самом деле было надо? Вот проблема и вопрос...

И так, нахлебавшись жизни и смерти, сел я снова за те старые книги, чтобы продолжить дело поисков новых ответов на старые вопросы. Потому что стареют лишь ответы, а вопросы не девались никуда.

А Таня теперь шьет, шьет, шьет – забыться хочет.

Ну ладно.

Жажда жить... Наводнение, наводнение...

Наводнение как наваждение, и жажда жить».

9

А потом уж лето было томное и жара без дождя. И вдруг – ливень...

Одна тысяча девятьсот двадцать третий год. Нэп вовсе в рост пошел. У Асташенкова ткацкая фабрика и ресторан.

«Зингер» стучит, Таня свою надежду шьет.

А гром гремит, небо пламенем и тьмой содрогается, будто в Крыму землетрясение, а от Черного моря на нас круги летят.

И тут бабушка сказала:

– Что-то мне нейдет... Будто кличет кто.

Глядь-поглядь – нет никого, а дождь кончился.

Был давний сапожник Яков Бёме, и в сочинении «Аврора» он сказал: «Гнев – это мрак, любовь – это свет. И тот станет богом, кто в это уверует, потому что начало всякого желания есть образ».

Пошла бабушка на рынок, на Преображенский, городскую мантилью на деревенскую картошку менять. Сменяла. Ей в корзину мерку насыпали, шацкая картошка, крепенькая, чистая. Женщина темноволосая прикрыла ее капустным листом, бабушке корзинку отдала.

– Не пожалеете, что взяли, – сказала она. – Последнее отдаю.

Хотела бабушка женщину разглядеть, да та отвернулась.

Тут ветер поднялся, бабушке в глаз надуло. Достала она платочек батистовый, глаз прикрыла и понесла корзину домой.

Принесла. В стакан воду налила – глаз проморгать, а Сережка ее спрашивает:

– Бабушка... Это кто?

Бабушка обернулась, а Сережка капустный лист в руке держит. Бабушка глаза перевела, а в корзинке ребенок лежит, смотрит и не моргает.

– О господи! Откуда же ты? – изумилась бабушка.

Глядь – поглядь, а к свивальнику бумажка приколотая. Прочла, а там написано одно слово: «Простите».

И бабушка поняла, что подменили ей картошку-то шацкую, крепкую, рязанского сорта.

Потом снова на рынок бегала, да те возы уж уехали, и спросить некого. Да кого спросишь, если нарочно подкинули?

– Вот отчего сердце маялось, – сказала бабушка.

И в приют не отдала.

И правильно. Через месяц приехала седьмая вода на киселе – родственница – и рассказала, что померла одна женщина, дочка Никифора, внучка Федосея, правнучка Антона, праправнучка Григория, прапраправнучка Михаила Громобоева, который от огненного шара родился. А перед смертью поехала в Москву с возами и новорожденным, якобы повезла с рязанской родней картофель. А вернулась в Серпухов без него и отошла с тоски – вдова не вдова, а мужа ее невенчанного громом убило, грех-то прикрыть и не успел.

И вышло так, что мальчик – родня бабушкина и, стало быть, зотовская родня. Ну, значит, перст судьбы. Таня говорит:

– Не отдам.

Личико круглое. Молчаливый. Назвали Витя. Записали Громобоевым, чтоб, когда вырастет, никто бы его не смутил рассказом, что не Зотова сын, а под капустным листом нашли. А так – родня и родня, племянник, и вся сказка – так племянником и начал расти Виктор Громобоев, молчаливый мальчик, но Таня и Зотов звали его сыночком.

– Разыщи Василида, – сказал дед. – По описи он в малой шкапе.

Разыскал Зотов и записал вкратце, как понял, Василидово мироустройство.

«В полном и абсолютном начале всего сущего заключены все возможности, какие только могут быть возможны. И называется это „нечто“ – панспермия, иначе сказать – всеобщее осеменение. И в этой панспермии существуют возможности всех видов бытия. Подобно тому как в семени человека или морковки существуют возможности всех будущих человеков и морковок...

Запомнилось мне из Бёме, что начало движения желаний есть образ. И запомнилось мне из Мани, что плоть и дух есть разные сущности, а добро и зло вовсе разные миры.

А теперь запомнилось мне из Василида, что панспермия есть возможность всех возможностей...»

Поглядел Зотов-офеня на спящего Витьку Громобоева и ответил сам себе: «Помни не о смерти, а о рождении... Что-то должно родиться новое... Новая вселенная... А может, сыночек названный и есть ее начало?»

Вошел Тане в сердце капустный найденыш Витька Громобоев и стал как сынок. Вошел не как осколок на войне в белое тело, а как семечко в пашню и там пустил корешки, и вот уж росточек зеленый на белый свет таращится, а Таня колыбельные песни поет:

Придет серенький волчок,
Он ухватит за бочок...

Но пацанчик, похоже, серенького волчка не боялся и все пытался некое слово выговорить и произнести. И Таня слышала будто не «мама» или «баба», а «Таня». Таня с него глаз не сводила и все ждала, когда он ее позовет.

– Петя, – говорит, – это недаром... Это вместо мной рожденного... Ну не буду, не буду...

А сыночек ее капустный на пузе лежит, ладошками упирается, голову подымает и смотрит, будто Наполеон Бонапарт.

– Петя, он не так смотрит...

– А как надо?

– Не детский глазок у него, – говорит Таня. – Это мне в награду...

– За что? – спрашиваю.

– Судьбе виднее, – отвечает.

Тогда на Пустырях много сказок ходило, и все про таинственное и неочевидное, появилась и еще одна.

Будто мальчик тот не простой, а веселый и опечаленный – отмеченный.

И Таня приникла к нему душой, будто к сыночку, ею рожденному. А Зотовы уж было думали, что она от тех семечек двадцать первого года не откашляется.

10

Разные причины у мертвого и живого. У мертвого причина лежит в прошлом – толчок, а у живого – причина всегда лежит в будущем. Она – приманка. Поэтому так трудно различить, что устарело, а что еще нет или вовсе только нарождается.

...Был у нас на фабрике один Тоша, вахлак вахлаком, но увертливый. Недоглядели, а он уж председатель. И какое бы дело ни затевалось, он – председатель... И на заседании председатель, и во всех президиумах председатель. Графин с водой поставит и допытывается: а почему ты не такой, а сякой, а почему ты есть ты, а не я? И многие горели синим огнем, не зная, что ответить на этот дурацкий вопрос.

Но на одном собрании и до нашего деда дошло-докатилось.

Ученый человек докладывал о текущем моменте, о международной политике и отвечал на вопрос, есть ли Бог и как устроена Вселенная.

А надо сказать, что Тоша ненавидел деда люто и с радостью, потому что дед обозвал его «вождем неизвестной оппозиции». Тоше передали, и он решил покончить с опасностью на корню.

Тоша давно готовил бесславный конец дедовой карьере, каковая хотя дальше токарного станка не простиралась, однако угрожала карьере увертливого Тоши, который понимал, что если деда вовремя не остановить, то Тошу в какие-нибудь председатели не выберут.

И теперь момент возник подходящий. Лектор доложил, что есть материализм и есть идеализм и какая между ними разница. Ну, слово за словом, деду стало интересно, и он сказал, что дело это непростое – разница между телом человека и сознанием его, а тем более фантазией. И тут для работы еще непочатый край, и конь не валялся, и еще думать и думать.

И Тоша вострепнулся.

– Ты в Бога веришь? – спросил он деда.

– Погодите, – сказал лектор. – Это его частное дело.

– Для всех частное, для него нет. Он воду мутит. Напрямик говори, чтоб люди знали, – в Бога веруешь?

– Объявится – поверю, – сказал дед. – Не объявится – и верить не во что.

– Вульгарные у вас взгляды, – сказал лектор. – У вас материализм, но вульгарный.

– «Вульгарный» в переводе с латынского означает «народный», – сказал дед.

Пока ученый человек соображал, какой лаптой отбить дедов мячик, Тоша восстал возле графина, аки лев рыкающий.

– Встань, Зотов, и скажи народу свою идеологию, – велел ему Тоша. – А мы поглядим – наш ты или не наш?

– А ты-то кто? – спросил дед. – Начальник советской власти?

– Видите, товарищи? Видели? Я, Зотов, председатель собрания!

А Тошу уже боялись. Нэп. На бирже труда очередь. Гуляющие девочки под фонарем тоскуют. Уволят – чем семью кормить будешь?

– Нам известно доподлинно, что ты, Зотов, сектантские книжки хранишь и читаешь, и, значит, расскажи собранию о своей секте: как называется и кто в ней участник.

– Секта моя называется зотовская, – отвечивал дед. – И в ней я да Петька – мой внук. А больше никого не пустим.

В зале даже девчонки-подсобницы захихикали. Председатель Тоша выкатил глаза белые, как у сушеной таранки, и стал колотить по графину.

- Графин пожалей, – сказал дед. – Тебе чего надо?
- Не наш человек, – определил Тоша. – И биография твоя запутана донельзя, и есть данные, что и фамилия твоя не Зотов, а Изотов, короче – выкладывай свою биографию!
- Может быть, не сейчас? – спросил ученый человек.
- А собрание веду я, – сказал Тоша. – Давай, Зотов, всю правду. От рождения.
- Рождение мое покрыто тайной, – сказал дед.
- Как это? – радостно испугался председатель и стал рыться в бумагах. – Какой тайной?
- В чем тайна? – И запредвкушал, глазами забегал.
- Тайна в том, – сказал дед, – что я мог и не родиться, однако родился.
- Ну дак и я родился, – сказал председатель.
- Ну дак и твое рождение покрыто тайной, – сказал дед.
- В зале заржали.
- Мы материалисты, – сказал председатель.
- Это кто материалист? Ты, что ли? – спросил дед. – С чего ты взял?
- Я не идеалист, – сказал председатель. – Значит, кто я?
- Неграмотный, – сказал дед. – И брехун.
- Я?.. Вы слышали? Я?
- А если ты материалист, то что есть материя? – спросил дед.
- Ученый человек пришел на выручку:
- Материя – это объективная реальность, данная нам в ощущении.
- Вот так, Зотов. Понял? – обрадовано сказал Тоша.
- А из чего состоит материя? – спросил дед. Ученый человек обрадовался, что разговор ушел от склоки.
- У вас пытливый ум, – сказал он. – Но есть установленные факты. Материя состоит из частиц, значит и все живое можно из них собрать. В принципе.
- А пробовали? – спросил дед.
- Наука этим занимается. Советский ученый высказал научную идею.
- А получилось собрать? – спросил дед.
- Наука этим занимается.
- Вот когда получится, тогда и поверю.
- Это же идея! – услышав знакомое слово, вскричал Тоша. – Идея! Ты безыдейный?! Ты, значит, против идеи?!
- Как же без идеи? – сказал дед. – Без идеи нельзя. Однако пришла идея – проверь на деле.
- Дед упорно не давал пришить себе безыдейность, однако тут и ученый человек разозлился: наука дело святое, и сомневаться в ней никому не позволено.
- Есть такие идеи: чтоб их проверить, нужны годы! Годы! – загонял он деда в дальний угол.
- Рабочие притихли. Они уже понимали, куда клонится дело и ветер дует. Уволят – на что жить будешь?
- Ну факт, – сказал дед. – Сад посадил, возделывай и жди плодов. Кто спорит?
- Значит, нужна еще вера в эту идею! Вера! – дожимал деда ученый человек.
- Ты, может, и в коммунизм не веришь? – поставил Тоша последнюю точку.
- Без веры нельзя, – сказал дед. – В коммунизм я верю, поскольку другого выхода у человека нет. Остальное все человек перепробовал, кроме этой надежды, – сказал дед. – Но вот я не верю, Тошка, что один ты знаешь, как коммунизма достигнуть. Есть тебя и поумней. Это ему-то, Тоше, да при всех! Стало совсем тихо.
- Это кто же, к примеру? – тихо спросил Тоша.

– К примеру, Ленин, – так же тихо ответил дед. И в этой тишине дедова ответа из коридора стало слышно, как сапоги бегущего человека бухают по доскам: беда... беда... беда...

Человек из коридора рванул дверь и остановился.

Вьюга сорвала бумажные протоколы, реальная вьюга.

Потом стали звереть морозные гудки, и больше Зотов ничего не помнит, потому что умер человек, на разум и величие которого опирался дед в своих спокойных вопросах и не поддавался дешевке ответов.

Это был двадцать четвертый год века.

Все.

11

...Напротив, через улицу, будут школу строить. Небо высокое, синее, на небе облака барашками, под облаками свалка и окружная дорога. Две палатки хлебные рядышком – частная и государственная. Парня семи лет послали кило черного купить, а он снизу орет: «Папанька! Маманька! Кил нету! Одни хунты!»

Не успели оглянуться, а на дворе двадцать восьмой год и Сережке шестнадцать лет.

– Петя... – говорит жена. – К Сереньке барышня приходила. Альбом принесла, а в нем песни переписаны.

– А звать как?

– Клава... Отец ее у Асташенкова счетоводом.

– Знаю ее. Четвертой Маркизе дальняя родня. Ах ты, Клава, Клава...

Осень пришла. Комары на дерьмо садятся.

Маркиза Клавдию спросила:

– Кем ты хочешь быть – умной или сильной?

– Умной, – радостно сказала Клавдия.

– Глупо, – возразила Маркиза. – В жизни, как в театре. Сильные сидят в первом ряду, а умные играют для них роли в спектакле.

– А разве умные не сильные?

– Сильные – у кого челюсти крепкие, – сказала Маркиза.

– Золотые? – спросила Клавдия.

– Зачем? Свои. Главное, всегда береги зубы. Видишь, какие у меня? Береги, ухаживай.

Зубы у нее были великолепные.

Клавдия этот разговор передала, поглядывая на Серегу. Серега смотрел в окно. Задумчиво.

– А вы как считаете, Петр Алексеевич, насчет первого ряда? – спросила она.

– Я хожу на галерку, – ответил Зотов.

– Да? Почему?

– На галерке – мечта, а в первом ряду – потом воняет.

Серега заржал. Клавдия вскинула голову.

– Просто у вас денег нет, – сказала она. – А духовная жизнь стоит дорого.

А Клавдия хотела украшаться. Когда она видела золото, все равно – обручальное кольцо или вставную челюсть, – она улыбалась. При этом у нее брови взлетали вверх, а веки прикрывали нецелованные глаза, и вид у нее становился насмешливый и надменный.

Клавдия поглядела на Серегу странно и повела глазами – старый безошибочный прием: в угол, на нос, на «предмет». И Серега заволновался.

Тогда Клавдия проделала прием в обратном направлении – поглядела на «предмет», то есть на Серегу, потом на пряменький носик, потом в угол. Потом накрыла платком сильно похорошевшие плечи и вышла.

– В первый ряд поехала, – сказал Серега. – На галерку не хочет...

Маркиза, стало быть. Таня ей платья шьет, Маркиза журналы приносит. А там на картинах от всех баб – только ноги и бусы. Как в такую моду Маркизу впрячь? Она и из старой сбруи торчком торчала. Маркиза приходила в безветренную погоду и без дождя, когда никого нет, а лишь Таня одна. Постучишь – Таня откроет. В прихожую войдешь, а дальше она загораживает.

– Туда нельзя, – говорит. – У меня примерка.

А уж по духам ясно – чья: «Лориган» с балыком.

Асташенков, кроме ткацкого дела, сахаром заинтересован и мукомольным делом. Маркиза и Клавдия стенографию учат по учебнику-самоучителю. Серега начал, да бросил.

Сытость из забытых недр возвращается.

Однако дед был хмурый и даже как бы яростный, и Зотов не мог его понять.

Воображаешь свое или чужое поведение и ничего не совпадает с явью. И люди как малые дети, которые думают, что утонуть можно лишь в глубокой воде, и не боятся сунуть голову в горловину макитры, и захлебываются посреди села, как было на Украине. Зотов успел поднять горшок, и вода вылилась, и парнишке стало чем дышать внутри... А Зотов разбил прикладом чужой горшок и вернул пацанчику белый свет и день.

Асташенков с женой развелся. Маркиза решила – хватит.

Асташенков и Маркиза гостей созывают. Послезавтра в загс и свадьба по церковному обряду (дело и тут улажено) в Елоховской. Потом пир горой. Но вот казус вышел. Колькин начальник из золотого треста едет на Дальний Восток на два года работу налаживать и его с собой берет, помощником. Потом ему в Москве опять большая карьера, и опять Колька с ним будет.

И Клавдия объявляет, что пойдет замуж за этого начальника и Колька – шафер. Две свадьбы разом. Послезавтра решили ехать в загс двумя парами – два жениха, две невесты. Веселей будет.

Серега голову опустил.

Но в тот же день Маркиза пришла к Асташенкову в контору. Ну, задние дворы, тюки, бочки, ящики, рогожные кули. А сам-то Асташенков торопливо дела сворачивает. Телефоны телефонят. Асташенков Маркизе мимоходом драгоценности подарил. Маркиза драгоценности взяла, но держалась странно. Прислушивалась к телефонным разговорам и вникала. Потому что известие получили о том, будто предстоит государственный план работ и перемен жизни на следующие пять лет. Н-да-а... Пятилетний план, и, значит, теперь нэпу конец.

– Из верных рук? – спросила Маркиза.

– Да, – сказал Асташенков.

– Кем же ты будешь теперь?

– Специалисты им нужны.

– Торговый служащий... – сказала Маркиза. – А ты был хозяин... Ну и ну... Да и ходу тебе не дадут.

– А мне зачем? Деньги есть. Еще будут. Всегда. Вот тут тебе еще кое-что.

Маркиза опять драгоценности взяла.

Перед тем как ехать в загс, хмельной золотой Колькин начальник вышел в коридор счетоводова дома и увидел, как Маркиза застегивает резинку чулка телесного цвета на шелковой полной ноге. И они стали смотреть друг на друга.

А когда Асташенков, Клавдия с дружкой и подружкой приехали в загс, то оказалось, что Маркиза с начальником полчаса как расписались, потому что очень спешили на Дальний Восток, где начальник будет Начальником. Государственный сектор набирал силу.

С Асташенковым этого еще не бывало, а с Клавдией и подавно.

– Бедняга-начальничек... А ты считай что ушел от гибели, – сказал Асташенкову дед. – Помяни мое слово.

Асташенков, который примчался на вокзал, увидел только хвост поезда, а также он увидел белую, как бинт, Клавдию и успел подхватить ее под локоть, когда она чуть не упала под колеса встречного поезда.

– Клоун вы, – сказала она Асташенкову. – Шут гороховый.

Она была человеком твердым, и у нее были красивые плечи.

Она вернулась в счетоводов дом, где на подоконниках стояли праздничные бутылки, а в углу дивана сидел Серега.

Клавдия с яростным румянцем на щеках увела Серегу к себе в комнату и стала скидывать с себя одежду. Клавдии было шестнадцать лет.

– Зачем это? – спросил Серега. – Не надо.

– Я хочу. – Она подумала и добавила: – Тебя.

Им обоим было по шестнадцать лет. Серега сидел на стуле, опустив голову.

– Пей, – сказала Клавдия и хлопнула пробкой. Серега поднял голову и взял хрустальный бокал с шампанским из руки совершенно голой Клавдии. Чтобы не видеть ее, Серега зажмурился и выпил. Когда он открыл глаза, Клавдия из-под одеяла показывала знаменитые плечи, как у графини Элен Курагиной.

После того как Клавдия отдалась Сереге, она опять сказала ему:

– Пей...

И Серега допил шампанское. Ему понравилось. Все было в первый раз – и Клавдия, и шампанское.

– И тут Клавдия мне говорит, – рассказал Серега, когда Зотов его пьяного укладывал спать, чтобы Таня не заметила. – «У тебя перспективы... Окончишь рабфак, высшее образование. Тебе всюду дорога. Далекое пойдешь... Ничего... Маркиза думает, опять вытащила лотерейный билет... Два раза не вытащишь... Теперь мое время... Ничего. Ты молодой. Я и с тобой еще всем покажу. Мы с тобой богаче всех будем». – «А зачем?» – спросил Серега. «В обществе можно либо повышаться, либо понижаться». – «А ровно нельзя?» – спросил Серега. «Ровно – нельзя». – «Кто тебе сказал?» – спросил Серега. «Маркиза». – «Ну, тогда я буду – ровно», – сказал Серега. Клавдия вскочила из постели, завернулась в простыню и сказала: «Уходи. А то отца позову». Серега оделся и ушел.

Зотов подобрал его, когда он скребся в дверь дома.

– Спи, сынок, – сказал Зотов ему, услышав рассказ. – Дыши ровно.

– Папаны, а ты когда-нибудь испытывал страх? – спросил Сергей.

– Да. Когда не понимал сути. А когда понимал – смеялся. Однажды ночью мимо меня по рельсам промчалась пустая дрезина. Я чуть не умер от страху, а потом смеялся, когда понял, что рельсы шли под уклон. И я понял: чтобы не бояться непонятного, надо докопаться до сути.

Птицей тишина звенит. Асташенков из Москвы вовсе уезжает. Присели напоследок в холодном дому.

Далеко они в рассуждениях зашли, а с чего начали, Зотов уж и не помнит. Однако дед помнил и с горних высот общих догадок вернулся на грешную землю, где ходят знакомые нам люди, не освещенные общим на них взглядом со стороны. Когда затихли шаги Асташенкова по ночной улице, дед сказал:

– Коли Асташенкову дать власть, то что будет?

– Капитализм, – говорит Зотов.

– Верно. А если Маркизе дать власть, что будет?

– Не знаю.

– Фашизм, – сказал дед.

И будто холодом и вонью потянуло со всех подвалов старой Европы.

– Я все Маркизу не мог понять и уяснить, – сказал дед. – Муссолини разобраться помог.

12

«Сверхчеловеков придумал Ницше, но фашисты вывернули и его. Ницше объявил: сверхчеловеку все дозволено. Тоже не сахар, но фашисты постановили: кому все дозволено, тот и есть сверхчеловек».

Вот такой перевертыш.

...Ключом отворили калитку в сырой черный сад, потом дверь, вошли в сени – Клавдия называет «вестибюль». Окна в нем ставнями защиты. Зажгли лампу керосиновую – решили здесь. Еда с собой. Колька две бутылки поставил.

– Мало ли что за бумаги, если сжечь просят или на усмотрение?

На брате Зотова, Николае-втором, пальто драповое, заграничное, реглан с поясом, и подкладка тесьмой обшита, шелком переливается (Таня все разглядела). И остановился в командировочной гостинице.

Он в Москву приехал, пришел ночью, когда Клавдия еще в роддоме была, и, выкатив глаза, сообщил: Маркизу на Дальнем Востоке судили. Асташенков свидетелем проходил, а теперь какие-то бумаги надо сжечь. Асташенков сказал – на дедово усмотрение, мол, Зотов любит старые проблемы, а бумаги эти прочесть нельзя, они стенографией написаны.

Думали-думали, решили так: пусть Серега возьмет все Клавдины учебники да за ночь бумаги те перепишет, не зря же они стенографией увлекались. А утром поглядим, что за бумаги и как с ними быть.

Все это случилось в 1929 году, как раз перед тем, как Клавдии из роддома выписаться.

...А до этого однажды Серега пришел и спрашивает: «Клавдия от меня беременна. Как быть?» – «Не знаю, – говорю. – Но Зотовы женятся...» Внука мне назовут Геннадием.

Не забуду я эту ночь. Ночь хаоса, душевной паники и гнусного открытия.

Бумаги отыскивали в погребе за обшивкой. Портфельчик красной кожи, дамский. А там письмо из Италии. И конверт был надорван яростными зубами Маркизы. Я ее помаду узнал – вишневую, будто кровь на холодке. Видно, торопилась прочесть. А раньше никогда не торопилась, только ждала, когда случай придет ногу на подножку ставить.

– Как же она такой портфельчик-то забыла? – спрашиваю.

– Асташенков перед свадьбой спрятал, до свадьбы-то ведь не было.

– Дядя Коль, а ведь из-за тебя все, – говорит Серега. – Ты ведь своего золотого начальника в дом привел.

– Да ладно, переводы пока. – И Колька стал рассказывать.

Золотой его начальник стал Начальником в дальневосточном городке, а Маркиза включилась в работу – начала заведовать продуктовой базой для золотоискателей – и царила полновластно.

Было у нее все – красота, беспощадный житейский ум и богатство. Времена трудные, а на базе только птичьего молока нет, и большие начальники ей кланяются. Все у нее было, кроме стыда и таланта. И еще пустяка не было – природа не дала – любить. А в том городке решили создать военное училище. Приехал командир будущего училища, молодой комполка, герой войны. Квартиры еще нет. Где остановиться? Ясно, у мужа Маркизы. «Давай ко мне. У меня квартира – во! Жена – во! Ты таких не видел». А комполка и правда таких не видел. А у хозяина каждый день после обеда заседание – дел в городке неупрочен. А у комполка после обеда дел никаких – ждать, когда эшелоны с людьми придут. Не успел и оглянуться, как Маркиза его окрутила. И сгорел комполка. А красота Маркизы расцвела неслышанно.

– Погоди, – говорю.

Письмо было страниц на сорок, так что пересказываю. Почерк не поймешь – мужской или женский, – стенография, но начиналось: «Дорогая сестра!»

– Сначала подпись прочтем...

А подпись – Гаврилов. Тот самый.

Мы с Колькой ахнули. Врать не буду – чего-то в этом роде я ожидал, думал, может, про Ивана что... Но что тот самый журналист Гаврилов и есть брат Маркизы, которому она манихейцев добывала, – этого я не ожидал.

Ну ладно.

И нас понесло.

Сначала шло о божественном. Гаврилов разбирал первородный грех Адама и Евы. Очень складно. Он так и писал: «Подойдем к этой притче как к логической задаче». И дальше доказывал, что если Бог всеведущ, то знал, что дьявол соблазнит Еву. Но если Бог всеблаг, значит у этого соблазна была благая цель. А это значит, что ему не понравились прежде созданные им же мыслящие существа, не имевшие свободы воли, а только заданный способ поведения. Кто же? Дьявол, змий, так сказать. Если змий мог мыслить и уговаривать, а человек был создан последним, то дьявол и есть предыдущий образец мыслящего существа. Какова же цель дьявола идти на такой страшный риск и бунт? Только одна – подстроить ловушку Еве и Адаму, чтобы доказать Богу, что прежние образцы были лучше: ведь дьяволы – это взбунтовавшиеся ангелы.

Все может быть, думал я. И мне даже нравилось испытание Всевышним независимости человека – чего, дескать, ты стоишь, если дать тебе свободу воли? Но мне не нравилось, что это писал Гаврилов, и я ждал какой-нибудь гадости. И ужаса.

Сергея делает перевод, а Колька рассказывает:

– В училище оборудование стали привозить, а комполка, видно, уже начал тяготиться неистовой Маркизовой страстью. Тут к нему беременная жена приехала и теща. Он совсем опомнился и съехал с квартиры. Маркиза знакомится с женой комполка, и та от нее без ума. Маркиза задаривает ее тряпками, учит ее жить, а глупая жена целыми днями висит на телефоне – Маркиза лучшая подруга, водой не разольешь. А какая красавица! Роды прошли неудачно. Ребенок родился мертвый. Маркиза ждет. «Что не заходишь?» – спрашивает она комполка на улице. «И не зайду. Пора кончать», – говорит он. «Ну, попомнишь!» – говорит Маркиза. А от жены его Маркиза узнает, что горе супругов опять и совсем сблизило. Жена на своего комполка не наладится.

...И в следующем листке я прочел непотребное.

«Сестренка, – писал Гаврилов, – один палач сказал мне: „Ни Бога нет, ни дьявола. Я пострашнее. Я человек...“ Сестренка, их товарищ Горький утверждает, что человек – это звучит гордо. Я с ним согласен, но мы с ним делаем из этого разные выводы. Человек звучит гордо, когда ему никто не указ. А это бывает только когда он импотент... Умоляю, не пугайся этого слова, сначала подумай. Дело в том, что мы с тобой дьяволы».

...Не поддаваться отвращению, гудело во мне, не поддаваться отвращению, которое теперь рвотно душило меня. Каждому норову свое место?.. А куда девать таких гадин?.. Где им место?..

«До Евы была Лиллит, – писал Гаврилов, – которую Бог отстранил от Адама, так как она была создана раньше – из другой Вселенной, Вселенной одиночек, и Бог нас создавал поштучно. Но Он хотел новизны, Он, видимо, считал, что прежняя Вселенная в тупике, и подарил Адаму плодоносящую Еву. Но когда наша цивилизация достигла бесплотности, мы стали внедряться в новую, то есть – блудить, не плодонося. А вот еще пример, что я прав: за то, что ангелы – заметь, ангелы, а не дьяволы – блудили в Содоме и Гоморре, эти два города уничтожены».

...Дальше начиналась уголовщина.

На льду реки нашли мешок, а в мешке труп. Молодая женщина. Видимо, хотели спустить под лед, но что-то помешало. Установили быстро: жена комполка. В городке шум. Закрутилось следствие. Ограбления нет – в ушах золотые сережки, кольцо на руке с камешком, дорогое пальто. Убита топором. Когда засовывали в мешок – рубили прямо по дорожному пальто. Кто последний ее видел? Теща. Куда она пошла? Пошла к Маркизе. Но Маркиза говорит: «Нет, не заходила. Все утро ждала...» Сотрудники подтвердили. На ботинках убитой – следы глины. Возле базы – недостроенный дом. Внутри, у фундамента, – глина. Пригляделись – та самая.

Комполка признался: была связь, были угрозы. Следователь вызвал Маркизу – якобы по делам базы. Пришла красавица, нога на ногу, сердится. Следователь занялся делами базы – авось что-нибудь найдет. Ничего. Бумаги в идеальном порядке. Даже неправдоподобное что-то. Одна бумажка неясная – бочонок спирта дан взаймы соседней базе, а возврата пока нет. Пошел на соседнюю базу, на всякий случай, а директор базы – в панике:

– Не брал я спирта. Документы оформил по просьбе. Разве ей откажешь? В порошок сотрет...

Значит, недостача, растрата, есть повод начать следствие о растрате.

Следствие идет, людей вызывают. В городе шум. Все всё знают. И вот тут вдруг история – старое эхо откликнулось.

Врачиха из роддома пропала. Нашли ее через двое суток на соседней станции. А там всюду без документов переезд запрещен. Ее задержали, а она в истерику. Короче, заявляет, что сделала выкидыш жене комполка и ребенок родился мертвый. Маркиза велела. Запугала. Та, дура, сдалась. А теперь во всем призналась.

Железнодорожная милиция, услышав все это, мгновенно переправила врачиху в город – разбирайтесь сами. Вот так.

«...Сестренка, мы были созданы раньше, и нас задумали отменить... Эти плодоносящие мириады муравьев-недоносков, недокормышей, суесящиеся вокруг дохлой гусеницы.

Они хотят одолеть бесноватых, бесполох людей. Смешно! Природа нас производит поштучно, чтобы мы их использовали как орудия».

Колька все рассказывал, а Серега подкладывал мне торопливые каракули этой ночи, а я думал о Маркизе и мысленно сражался с ней, и у меня голова гудела от воспоминаний о Гаврилове и от всего, что было.

«...Да, мы вращаемся вокруг одного и того же – Зла. Ну что ж, значит, есть закон. Закон Зла? Пусть. Значит, злодей – победитель? Но ведь жалкий Ницше сам же призывал быть по ту сторону добра и зла? Он только не сказал до конца – кто эти белокурые бестии. Одиночки? Но одиночка – это тот, кто не пытается плодоносить. Плодятся только бессильные».

Давний кошмар, который мучает человека... Битва ангелов с дьяволами...

Это было не во сне, но я видел чужой ад.

Черные лампадные тени метались в Клавдином вестибюле.

– ...У тебя всегда был один-единственный козырь. Ничего не желая сама, ты добивалась, чтобы тебя хотели. Значит, ты – объект, – сказал я Маркизе, которая стояла передо мной как живая.

– Все друг другу объекты, – сказала она, – а для себя субъекты.

– Нет, – говорю, – ты и для себя не субъект. Субъект не завидует, и, значит, его нельзя отменить. А тебя можно, и ты это знаешь. И когда свежая выпечка твоя зачерствеет, тебя никто не купит для любования. И больше ты никому не нужна, кроме дурака, который ищет в тебе тайну. А кто же будет искать тайну в черствой оладье? И ты боишься, что пойдешь на сухари или на рыбий поклев... А в субъекте всегда тайна незаконченности, и старуха – субъект – манит к общению с ней еще больше, потому что отлетело от нее сходство с другими и накопилась тайна несходства. Я помню, как хоронили Ермолову, первую народную актрису державы, и

Москва плакала по старухе, и королевский портрет ее я видел в музее, и он был незакончен, как сама жизнь. А кому нужны старые объекты, умершие еще при жизни и при жизни еще ставшие обедками?

И я читал и спорил, и Колька все рассказывал, и отвращение росло и спасало меня от ужаса нелюбви к женщине. И это была мера моего спасения. Потому что полной мерой спасения отвращение быть не может, а только восхищение и благоговение. Но его не было у меня...

– Маркиза, конечно, ни в чем не призналась, – рассказывал Колька. – Тут случай помог. В соседнем селе задержали двух человек, которые подрались в пустой избе, куда они зашли выпить и попросили хозяйку сдать им комнату. Напились, поссорились, не заметили девочки десяти лет, которая спала на печке. Она слышит – убийство, убийство, – выскользнула из избы и за людьми. Этих двух взяли. Оказались два рецидивиста, которые отбыли срок. А при них бочонок спирта – пятьдесят литров. А спирт там стоил о-го-го рублей литр. Большие тысячи стоил бочонок. Как раз столько, сколько в заемной бумаге с базы Маркизы. У одного бандита кличка Рябой, у другого – Сифилитик.

Они все рассказали. «Сука... – сказал Сифилитик. – Из-за нее все...» Они вышли из заключения, болтались по городу, на работу не берут. Маркиза узнала Сифилитика: «Либо поможете, либо вам конец, никуда на работу не возьмут, обещаю и еще припомню кое-что. А поможете – пятьдесят литров спирта и работа на базе». Куда денешься? Убили жену комполка. Очная ставка. Они ее матерят, что продала, она им: «Болваны».

Был суд. Требовали смертной казни. Дали десять лет. Она ни в чем не призналась. Комполка застрелился. Мужа Маркизы увезли в больницу...

Не знаю, как я заснул, но я увидел сон про Кольку и про себя.

Будто прихожу я к нему в номер, а он дрожит весь, возбужденный какой-то. Я ему: «Что с тобой?..» А он: «Пошли, сейчас увидишь...» Подались мы в соседний номер, а там игра, вовсю карты щелкают, мотыльками порхают, и стол зеленый. Он говорит: «Хочешь, я тебе карту покажу, карту, которую всегда могу в колоде найти не глядя?.. Я ее называю двое из Костина. У меня в Костине по Ярославке две знакомые блондинки... Не веришь? Я ее пальцами чувствую, беру ее в любой колоде и достаю...» – «Ну а что же ты дрожишь?..» – «Никак не пойму, откуда я знаю, как я эту карту отыскиваю...» – «Ты ведь выигрываешь?» – спрашиваю. «Всегда». – «Чего ж тебе еще надо?» – «Не знаю». – «Давай играй, раз пришли...» А на него уже жмурятся, однако не торопят. А сам думаю: чего ж он выиграл в жизни, кроме пальто с подкладкой, пьяни этой и лихорадки ума?

Колькина очередь сдавать. Он говорит: «Вот, гляди... Сейчас вытащу... Я ее называю двое из Костина... Гляди...» И вытаскивает даму. Масть не запомнил, только карты, видно, не наши. Все честь по чести – две женщины головами в разные стороны, как дамы в любых картах, но длинноволосые, белокурые, голые и во весь рост – вытянулись в длину, тощенькие, головами в разные стороны, и кудри спутаны. «У них все дамы такие, – говорит он, – только разных мастей». А я гляжу и думаю: чего ж это они его не трогают? Время-то идет? А он говорит: «Извините, я сегодня не играю...» Хлопнул бокал шампанского, официанту бумажку кинул, и мы вышли.

Вернулись в номер. Он на кровать лег и дрожит. «Может, чаю тебе?» – спрашиваю. А он мне: «Двое из Костина... Быстро... Принеси сюда эту карту...» А у самого зубы лязгают: «Быстро, – говорит, – быстро! И сюда!..» Я – пулей по коридору. А там уже игра кончилась, деньги по карманам собирают. Вижу, колода лежит. Беру колоду, смотрю... и обомлел. Да нет, думаю, это так, картонки, а карты где? На обороте – рубашка ковровая, а там, где крап, – ничего нет... Вообще ничего. Белые картонки. Все карты пустые... Вижу, на меня глядят, и, значит, я их застукал. «Ну... – говорю, – сами картишки делаете?» – «Ага, – отвечают. – Каждому по желанию... Ваш брат хочет даму блондинок, мы ему даем... Мы всем даем желанную карту... Каждому по желанию...»

Не знаю, так ли я понял этот сон, но, проснувшись, я подумал, что если нам дано воображать, то дьявол начинает с того, что проникает именно в воображение. Все остальное в жизни – это лишь последствия...

И тут Серега кладет мне каракули последних страниц письма, и до меня доходят все остальные страшные признания этой ночи:

«Сестренка! Не бойся отвратного и, главное, не люби никого». И далее он сообщает: «Вот я, твой брат, Гаврилов, половину жизни боролся с импотенцией, вместо того чтобы ею гордиться».

Уж чего только этот Гаврилов не делал – у проституток руки отваливались, – а ничего не мог. И сочинить ничего не мог. «Опишу бордель – у Куприна лучше, опишу ночлежку – у Горького лучше и у Гиляровского». Опишет уголовного людоеда – у Власа Дорошевича лучше. Ну не везет человеку, ну что ты скажешь! Он уже и прыщами исходил, и марфет нюхал, и водкой блевал, и ничего придумать не мог, и, кроме опять же прыщей, – никакого расцвета. Знание жизни огромное, и все с изнанки. Судил по себе: я ничего не могу, значит и другим не дано. А если кто может, значит знает хитрость, но держит в секрете...

А тут война, стал главноуговаривающим. Войну все же проиграли. И тогда он решил, что он человек будущего, и после Крыма подался в Италию. И там наконец нашел нужного вождя – Бенито Муссолини. Ницше объявил, что гений – это сверхчеловек, а Бенито мысленно подвесил Ницше вверх ногами и смотрит, что выйдет. И вышел – Гаврилов. И тогда Гаврилов фамилию поменял и стал идеологом. А Муссолини ему говорит: «Валяй доказывай, что низ – это верх, что бесплодие и есть плодородие и что мы есть сверхчеловеки и гении. Но доказывай быстро, пока Ницше вниз головой висит. И наступит праздник импотенции...»

...И меня стал душить хохот, будто я опять в той камере и Гаврилов пишет протокол. Вся дешевка гавриловского катехизиса и оголения стала очевидна для меня, бабника. И если Гаврилов логически прав, углядев, что мы созданы позднее дьяволов, то Господь знал, что делал, и, значит, у нас есть то, чего нет у ранних образов.

Я еще ничего не мог объяснить, но страх исчез от этой простой мысли, и оставалась нормальная драка, которую Зотовы вели без малого тысячи лет и всегда знали с кем. Лилась кровь? Лилась она и за меньшие цели, и даже церковь нас предала. Две тысячи лет она, потрясая заветом любви, кидала наши толпы в войну и гибель, крича, как аббат Мило перед штурмом неугодного города альбигойцев: «Режьте всех подряд! И правых, и виноватых! Господь отличит своих от чужих!»

Дорога длинная. Только начинается. Но праздника импотенции не будет.

Когда мертвецы грызут своих мертвецов, то это их покойническое дело. Но однажды, в неуследимый момент, народ начинает смеяться, потому что он умеет смеяться и над собой. А когда народ начинает смеяться над собой – ангелы закрывают глаза, а дьяволы содрогаются. А Бог открывает очи свои и говорит: «Ну! Ребята! Смелее! Сделайте то, чего не смогли эти бесплодные, созданные до вас! Ведь Я же создал вас не по их образцу, а по своему образу и подобию, не так ли?...»

Но я очнулся от крика брата моего и сына.

Они гнусно кричали, обвиняя друг друга в своей жизни.

– Петька! Уйми сына, а то врежу! – крикнул Николай.

– Мне?! – Серега встал – ладный, крепкий, ледяной.

И бросился.

Кто кого первый ударил в скулу, я не заметил, но они оба покатались по полу. Сначала только хрипели, потом кто-то шарахнул по столешне, лампа покатилась, хрустнула, и керосин вспыхнул. Я Колькиным драповым пальто успел накрыть пламя, и настала полная тьма.

Бухали удары, твердые и помягче, потом разом прекратились, когда пинком распахнулась дверь, а окна ржаво и железно заскрежетали. Стало бледно и светло. Ночь кончилась. В дверях

стоял дед. Немой снаружи срывал ставни, а Колька и Серега сидели в углу, обнявшись, лица у них были в крови, и они плакали.

– Встэ-эть! – тихим дворянским голосом сказал дед.

Они поднялись с пола.

– Прибратся надо, молодой отец... Да поезжай в роддом, – сказал дед Сереге, плотно взяв его за шиворот и повел к двери.

В дверях он отстранил Серегу на длину вытянутой руки и пинком вышиб его в сад. Потом вернулся за Колькой.

– Дед, – сказал Колька и потащил со стола пальто. – Ты во всем прав... Дед, не тронь меня.

Но дед уже вел его за шиворот, потом лягнул его ногой в задницу, сказал:

– Догони Серегу, – и закрыл дверь.

Я собирал пьяные каракули этой ночи, но дед отобрал их.

– Бей... – сказал я и наклонил голову.

– Сам ударился, – сказал дед. – Запомни, Петька, с дьяволом не заигрывают.

Мы спустились с крыльца, и я увидел пустой сад. Бабы листья дотлевали в осеннем костре. Черные стволы распухали в тумане. Стыла серая лужа в желтой траве. Колька с треском отрывал от пальто промокшую в керосине подкладку.

Серый был рассвет, суровый, проникотиненный и проникновенный, но воздух был воздух, вода была вода, и земля была земля.

Дед и Немой ушли восвояси, а я проводил брата.

– Смотри, Колька, – сказал я ему, – возле золота работаешь... Цветные металлы – это цветные металлы, а золото есть золото.

– Мораль... – сказал Николай, глядя в серое небо, лежавшее блином поверх тумана. – Меня всю жизнь пороли, чтоб запомнил чужие грехи. – Он вздохнул: – Дед что сказал?

– С дьяволом не заигрывают.

Он кивнул.

Мы влезли на железнодорожную насыпь окружной дороги.

– Братишка ты мой... – сказал я, и мы обнялись.

И через его плечо я наконец увидел лимонную полоску у горизонта под дымными тучами. Я отпустил его.

Он кивнул мне, дернул кепку за козырек и пошел по шпалам искать свою станцию и вокзал.

Под серым небом простирались пустыри с откосами мокрого песка, хибары, свалки, колокольни, заплаты огородов, кирпичные казармы фабрик и кое-где дома-новостройки. Ветер был сырой, свежий и тяжелый.

Но у горизонта вставала заря, с перстами пурпурными Эос.

Дымная предстояла эпоха.

Глава третья

Собеседник

В племени маонг суженых выбирают по песням.
Вьетнам

– Читай, читай, милый, читай заманчиво, – говорит Таня. – Зима кончится, и лето пройдет. Мы в этом году в школу пойдем, и будешь ты из всех начитанный. Папка нам ранец купит, и будешь ты из хорошей семьи мальчик, и мы не хуже других. Ботиночки новые купим. Пенал. Придешь в первый класс, все только а-а-а... бе-е, а наш мальчик читать может... Вот все и удивятся... А дед наш как ворон, его время отошло... Смотри, погода какая славная, апрель месяц... Деда с отцом не слушай. Они с Пустыря, из страшной жизни, а у тебя жизнь будет чистая... Ну что под картинкой написано – расскажи мамке!

– Трамвай с прицепом будет теперь ездить. Три вагона сразу.

– Три вагона – хорошо!.. Видишь, как все славно?.. И народу на подножках станет поменьше висеть. И будет чистая жизнь... А еще что прочел?

– В. В. Маяковский застрелился.

– Дай сюда! – крикнул дед.

Люди тонут не от глубины, а оттого что нечем дышать, а для этого годится макитра и лужа, и мир рассыпается.

Но дед держал макитру железной рукой, и разнообразная философия хотя и захлестнула Зотова, он все-таки мог дышать. И заметил, что между вдохом и выдохом ему приходит догадка о том, что начитанные люди, обучающие других, чего-то не понимают из того, что понимают все.

Любой курильщик знает, что курить вредно, но не бросает, и, значит, бытие и сознание увязаны друг с другом не напрямую, а как-то еще.

– Эмоции, – презрительно говорил обучающий, – страстишки, нервишки. Распустился организм, расшатался – вот и справиться с собой не может, а то бы бросил курить. Мен санум ин корниоре санум, – говорил доктор и переводил с аппетитом: – В здоровом теле – здоровый дух. – Хотя сам твердо знал, что почти всегда это вранье и вовсе необязательно в здоровом теле здоровый дух, и втайне боялся злодея с сокрушительными мышцами. – Разве вы не понимаете, голубчик или сукин сын, что курить вредно? – спрашивал доктор, выходя на улицу. И удивлялся, что пациенты все еще курят, пьют, воруют, насилюют, пытаются, уворачиваются от осмысленной работы и друг другу враги поодиночке или толпами.

Тогда он опять запирался в комнате, твердил: «Бытие определяет сознание». Но в форточку по-прежнему, уговаривая, кричал шкурникам и живоглотам: «Когда же сознание поставит предел вашему безобразию?!»

Зотов обнаружил странную вещь. Пытаются изменить бытие, повлияв на сознание, то есть уговорами.

И Зотов оставил бесполезное удивление и понял, что если сознание не может придумать, как остановить зло, значит мы не о сознании, а именно о самом бытии недостаточно еще знаем.

Пора настала. Осень подходит.

Купил он сыночку своему капустному школьный ранец, твердый, с хрустом, о двух ремешках – на плечики накидывать, а еще линейку с деревянным запахом, тетрадь в косую клетку, на обороте цена – 3 копейки – и угроза: продажа по цене выше обозначенной карается по закону. И закон выведен столбиком: $2 \times 2 = 4$, $2 \times 3 = 6$ – называется «таблица умножения».

«Умножай, сынок, и более тебе никаких законов не знать до самого сорок первого года, до восемнадцати полных лет».

Первое сентября, стало быть. Свежий, прохладный začínается денек. Пальтишко на сынке названом новое, непорешитое, ботиночки новые, на кожаном ходу, а что в чулках мыски заштопаны, то этого не видать.

Ветер форточки рвет, передовой поэт на Электрозаводе многотиражку в стихах выпускает, трамвай новый пустили – вагон с двумя прицепами, двадцатому веку первая треть кончается.

Зотов с дедом Витьку из первого класса дожидаются. Дед постановил:

– Ты по норову своему рядовой. Но ты можешь добыть о вселенной и жизни такое знание, без которого руководить результатов не дает.

– Одно дело человек, другое – вселенная, – говорит Зотов.

– Это одно и то же, – сказал дед. – Что сказал Карл Маркс? Он сказал: впоследствии естествознание включит в себя науку о человеке в такой же мере... в какой наука о человеке включит естествознание. Понял? Это будет одна наука...

– О господи! Петя! Петя! – позвала Таня.

– Ну что?

– Глянь в окно. Витька возвращается.

Зотовы стали смотреть в окно, а там без пальто и ранца топает капустный сын Громобоев. Он возвращается домой, не начав учиться, и его оглядывают идущие в школу дети и их сопровождающая родня.

Пальто он прогулочно перекинул через руку, а ранец волочился по тротуару – сгребает окурки и листья.

Таня ему дверь открыла, молча охая.

– Почему вернулся? – поинтересовался дед.

– Там тетенька, – сказал Громобоев.

– Что тетенька?

И капустный Громобоев поведал: там в раздевалке за проволочной сеткой сновали нянечки, а дети в окошко отдавали «польты» и убегали по «калидору».

Когда Громобоев протянул пальтишко, то нянечка придержала его в окне и сказала: «Нюра, Нюр, смотри, какой мальчик хорошенький, какой красивый мальчик», – и из-за сетки стало глядеть второе женское лицо с сонными глазами.

И эта женщина спокойно мигнула.

Капустный сын вырвал у нянечки пальто: «Дайте».

И ушел домой.

– Знаю я ее, – сказала Таня.

– Кто такая?

– Так, – сказала Таня. – Нюра одна.

– Ну ладно, – говорит Зотов, – пошли снова.

Так капустный сын опоздал в школу первый раз в жизни. Сразу же, как только пошел, так и опоздал. Потому что на него незнакомая женщина сонным глазом мигнула.

Это только кирпичи одинаковые, а люди-то все разные. И как постичь древо жизни? Видно, надо приглядеться к ее семечку.

«Расти, семечко, расти, сыночек названный. Серегу я упустил, две войны были и новое мироустройство, а тебя, подкидыш капустный, упустить не хочу. Потому что, выходит, ты теперь мой главный собеседник, моя вселенная».

Вот так.

– Витька, – спрашиваю, – скажи, а ты правда – вселенная?

– А? – спросила вселенная.

14

...Одна тысяча тридцать первый пошел. Япония Маньчжурию захватила, и опять злоба лютует. От злобы сознание костенеет. И остается одно остолбенелое бытие. И лицо у этого бытия – розовое, как выпоротая задница.

Вот взять национал-социализм, это уж потом он доктрина, теория и даже политика. А вначале это – злобное бытие.

– А никакого национал-социализма быть не может, – сказал дед, – а может быть только национал-фашизм... И раньше, чем фашизму явным стать, надо, чтобы тайные фашисты друг дружку обнюхали, и опознали, и постановили право на душегубство.

Будто в мире железная река старую плотину рвет.

Тридцатые начались, железные.

Планы, планы, согласование. Хлеб нужен, чугуна. Америка 43 миллиона тонн чугуна в год плавит, Германия – 13, а мы – 1 миллион. Колька – по цветным металлам. Сашка – в торговле, Иван сгинул, немой Афанасий на электрокомбинате чернорабочим. Дед, Зотов, Серега – станочники, токариное племя. Ванька Щекин – директором на заводе; Ванька – Колькин приятель с Пустыря – головастый оказался.

– Круппы в Германии думают, что наймут Гитлера порядок навести и что он для них нужная сволочь, – сказал дед. – Деловые люди, а такая дурь и мираж... Не успеют оглянуться, как все монополии станут экономический пупырышек при полиции.

Громобоев в третий класс перешел.

Кризис в мире лютует. В Америке промышленность вдвое упала, в Германии – до сорока процентов.

Барыги пшеницу жгут, апельсины в море топят, чтоб на рынке цену поднять. Жуть. Вот она, анархия очумелая. И ясное дело, нам без плана нельзя. Дед сказал – война будет. Асташенков сгинул невесть куда. Американцы вроде бы нас признают. По утрам заводы гудят, смену собирают. Как-то вдруг оказалось, что в человеке – сил на десятерых.

Неужели все же война будет?

Колька из Берлина приехал. Привез пластинки на русском языке... «Прощай, малютка... мне так грустно без тебя... О-лле!» «Моя Марусичка... моя ты ду-ушечка... Моя Марусичка. Моя ты ку-колка!.. Моя Марусичка... А жить так хо-очется... Я весь горю, тебя молю – будь моей (пауза) женой!»

– Петька... – говорит. – Навидался я... Тебе такого сроду не видать... Феноменально!.. Фашистов видал... В ресторанах бабы почти что голые. Ну что еще?.. Еда есть, витрины богатые... Безработных тьма... «Мерседес-Бенц»... Вандерер. Унтер-ден-линден... Фарбиндустри... Ферфлюхте швайн... Хох!.. Барахла кое-какого привез... Ботинки с дырочками... Патефон... Русских песен много поют... Шпиль иммер баляляйка... айнен руссише танго... Прощай, прощай... прощай, моя родная... Пою... мое последнее (пауза) танго!.. О-лле!.. Куда в отпуск собираешься?

– Олле! – говорит Зотов. – Приехал и молодец... Меня на дедову родину зовут, под Владимир. Просят помочь в колхозе движок поставить. Может, на заводе кого сговорю подработать за лето. А нет – один поеду... Тебе что, сынок?

– А мама? – спрашивает Витька. – Без мамы не ездить...

– Смотри ты... – говорит Колька. – Понимать начинает.

Трудно Зотову стало дома жить. Таня с ним на люди не ходит.

– Стыдно, – говорит. – Я твоих баб по глазам узнаю. Почему я тебе верная – сама не пойму.

– Таня, а кто не так? – спрашивает Зотов. – Мужик он мужик и есть. Такое его устройство. Вот возьми – бык один на все стадо...

– Так ведь то бык, – говорит она.

– Ну не буду, – отвечает.

Ну, улеглись они спать в полнолуние. На половицах квадраты лунные. Лежат, в потолок смотрят.

– Надо бы полы покрасить, – говорит Зотов. – Возле стола доски лысые совсем. Где бы краски достать?

– Петя, а я видала, ковер на пол кладут, представляешь? Со стены снимают и на пол стелют.

– Да слышал я, – говорит он. – Тыщу раз рассказывала. Мечта твоей жизни.

– Да, мечта, – говорит.

– Мещанские у тебя мечты, – говорит. – Стыдно.

– Мне не стыдно, – говорит, – и Витеньке... Он подрастет, заработает и мне ковер купит.

Он сам сказал. На стену.

– А на пол?

– И на пол. Он сам сказал.

Зотов смеется. На луну глядит.

– Петя?

– Ну?

– Сыночек наш непростой растет.

– Способный парнишка... Жаль, учится плоховато. По математике никак таблицу эту не одолеет – умножения.

– Нет, Петя... он не по-людски непростой... Материнское сердце знает.

– Так ты ж ему не мать, а приемная. Или нет?

– Слушай, Петя, что скажу... Так выходит, что не мы его приняли, а он нас. В родители.

Он мне послан в защиту.

– От кого в защиту?

– От всех... Не смейся, слушай, что расскажу... Давеча приходила Нюра, Васи истопникова родня... Про нее всякое говорят... Ваш брат от нее чумает... Пустя, Петя, не надо...

– Я думал, тебе надо...

– погоди. Ты ее не видел во дворе-то?

– Нет.

– Ну вот, – сказала Таня.

И как бы с торжеством это промолвила.

– Что – ну вот? – спрашивает Зотов.

– Не мог ты ее не видеть. Ты по двору шел, а она на тебя уставилась.

– А я при чем?

– Вот я и говорю – шел мимо и не видел ее... А не мог не видеть. Вот так она стоит, а так – ты идешь и не видел... Это ты-то? Мимо такой бабы пошел и не глянул?... А я уж думала – семье конец. Она ведь разлучница.

– Давай, Танюша, спать, а?

– Дурак ты, Петя... А знаешь, что было-то?

– Что?

– Ты прошел, она глаза закрыла. Потом открыла, поглядела вдаль и поклонилась.

– Кому? – Он уж разозлился: лежат без толку – даром что вместе, об ерунде говорят. –

Кому поклонилась? Мне, что ли?

– А никому, Петя... Ты прошел, двор пустой... Ее истопникова жена спрашивает: «Кому кланяешься? Двор пустой, кому кланяешься?»

– А она?

– «Я, – говорит, – знак видала...» И пошла со двора.

Ну, Благуша, родная! Что ни год, то сказка. Видно, и тридцатым железным ее не унять.

– Ох, слушаю я тебя, слушаю – одна дурь и болботание.

– А знаешь, куда она глядела... на пустом дворе-то?

– Ну?

– На дальнем сарае, на крыше, мальчик спал, загорал... А когда ты шел, он проснулся, и глазки сонные. Сыночек наш названный... И выходит, Нюра ему поклонилась.

Зотов даже обалдел незначительно:

– Кому поклонилась? Витьке?

Таня лежит, в потолок смотрит, а в глазах две луны плавают. Отражаются, стало быть.

– Заболеешь ты, Танька, со своими мыслями, – говорит он.

– А ты – со своими.

Кто их, баб, разберет? Чепуху говорят или нечто – это есть тайна.

И поехали они в ту дедову деревню все вместе. Зотов, Таня и Витька.

Колхоз ихний только обживался, с хлебом было туго, но им продавали.

И тогда постановили они с Таней денег за работу не брать.

– Совестно, – говорит Таня.

А он думал – спорить будет.

А через двадцать дней движок электричество дал.

Собрались уезжать, а председатель говорит:

– Так не положено, не по-людски.

Пришли они с завхозом выпить, до утра говорили, председатель свою руку гладил, которую ему в тридцатом прострелили, и все Таню благодарил: «Спасибо вам за Петра Алексеевича, за мужа вашего, выручил, и токарь, и слесарь, и сборщик, и электрик – на все руки, как Петр-первый, отработал свое с верхом».

«А женка моя сидит – майская роза».

– А у его прозвище Петр-первый, у орясины, – говорит. – И вам спасибо, что с семьей приняли. А денег за работу мы не возьмем. Нам не надо.

– Это как же? – говорит завхоз, и на председателя глядит, и Зотову: – Как же это, Петр Алексеевич?

– Я в дому хозяйка, – говорит Таня. – Мне и решать. Помещение вы нам дали, дрова дали, хлеб я из пекарни покупала, всей семьей отпуск провели, сыночек полевым воздухом подышал – и квиты.

– А знаешь, Таня, сколько бы стоило, ежели специалистов позвать? – спрашивает завхоз. – А он один управился ай нет?.. Не положено, Таня. Мы на специалистов фонды выделили. Нам утвердили.

– Как сказала – так и будет, – отвечает.

– Ну Таня! Ну человек! Ну жена у тебя, Петька! Не забудем!

Выпили крепко. «Снежки белые пушистые» пели и другие песни. Завхоз Тане руку целовал, а Таня пила – не пьянела. Вот тебе и Таня!

А утром погрузились в телегу, тронулись.

– Стой! Стой! – бежит завхоз с мешком, а из мешка гусь рот разевает: ага-га! ага-га!

– Не спорь, Таня, не спорь, – говорит завхоз. – От гостинца не отказываются. Личный мой гусь.

– Да он щиплется. Куда мне его?

– Дай! – говорит Витька. – Дай мне! – И гуся обнимает.

– Ну вот и сладились... Держи, Витька... Не забыва-а-ай!

Колеса катятся, деревня пятится. Витька дражнится: ага-га!.. Ага-га! Гусь молчит, в суп готовится. Витька в небо смотрит, как облака уносит ветер, дождю идти не велит. Вот и станция.

В Москве гусь за Витькой ходит – куда он, туда и гусь: ага-га! Привыкли к нему, дураку долгошему, а он к людям. Гадит вот только.

– Петя, – говорит Таня. – Я его все равно есть не смогу, и Витя. Правда, Витя?

– Ага-га, – отвечает Витя по-гусиному.

А гусь на Зотова смотрит, ждет: конец ему или нет?

Стыдно признаться: год голодный был, а Зотовы, как дураки, этого гуся одной семье под Москву – в хозяйство. И дальнейшая его судьба им неизвестна. Съели, наверно. А может, гусей развели.

«А Таня мне потом говорит:

– Петь, а Петь... ты эти песни не пой, ладно?

– Какие?

– Которые из Берлина Колька привез на пластинках... „Моя Марусичка, моя ты куколка... Я весь горю, тебя молю... и взор ее так много обещает...“

– Олле! – говорю. – Заметано.

А у меня в голове засело, поверите? Как Нюра в пустом дворе поклонилась, и как Витька не пустил меня одного в отпуск ехать. Может, и вправду знак?

Вот тебе и Таня. Неужели сказка и в тридцатые выживет?»

15

Ну рванули! Будто готовилась великая сила, косточки разминала, а теперь не удержишь. Зотовский завод пятилетку в два с половиной года выполнил – это же понять надо!

Индустриализация. Индустрия, индустриальная держава становится. Вера. Такое дело. Если тебе верят – у тебя силы вдвое. А у кого талант – у того втрое, вдесятеро. Тут не вычислишь. Вера. Такое дело.

Постановил некто Адольф считать свою нацию высшей, и точка, – кому не лестно. И уж эту логику придется не рассуждениями бить, а войском.

Дед сказал:

– Дело задымилось. Был у них шанс опомниться, да не опомнились. И все это – сны безумцев.

Национализм не тогда, когда ты хвалишь свой народ, а я свой, и даже не тогда, когда ты свой народ хвалишь, а мой хулишь, а я делаю то же самое. Это страсти, они проходят. Национализм – это когда ты говоришь: «Мои подонки лучше твоих подонков», – а я делаю то же самое.

– Петь, а ты в тетрадках своих ничего такого не пиши, – говорит Таня.

– Какого?

– Ну вообще.

– Да нет, я только так, наше, домашнее.

Витька, Витька... А Витька наш фортели откалывает. Я ведь с ним всерьез только летом, в отпуску. А в остальное-то время о нем больше по слухам.

И слухи чудные или глупые. Все ребята бузотерят, а этот – будто людей изучает. Вроде наизусть разучивает.

Вот ругаются – он свой класс зевать приучил.

Сначала сам зевал – весь класс за ним. Потом учитель географии рот разинет: «Ы-а-э-у, ой, что это на меня напало?» Ну и остальные учителя так-то. Зевота – дело заразительное. А потом Витька и зевать перестал. Ему без надобности. Локоть на парту поставит, из указательного пальца и большого клюв гусиный сделает и раскрывает. Да медленно так, с дрожью. Ага-га! Кто заметит – зевнет, и пошло.

Ну? Как это называется?

Или такое:

Собрались пацаны у нас в доме, возятся под столом, сражаются и в коридоре. Сумерки наступают. И я домой вернулся, в кухне над верстаком лампу включил. Потом стали они силой

хвастаться своей и родительской – кто чего может неслыханного: кто съесть, кто выпить, кто от земли подтянуть или согнуть. Дело дошло до Витьки, он и говорит:

– А мой дядя, немой Афанасий, может тонну поднять.

Его на смех.

А ведь правду сказал.

Немой-то наш роста среднего, но силы дикой. Никто и не знал его пределов. Ну сильный и сильный, никто ему экзаменов не справлял. Немой, и все. А однажды прислали на завод машину-полуполторку за трансформатором, а грузчиков не прислали, понадеялись. Ждали-ждали, Немой уперся спиной, наклонился и подтолкнул трансформатор к краю лестницы – всего-то и снести надо было два пролета, двадцать две ступеньки. Трансформатор – метр с лишком высоты, а вес – тонна. Немой на две ступеньки спустился и мычит, показывает: наклоняйте, мол, я спиной приму. Все друг на друга глядят и думают: «Дурак или кто? Тонна. Шестьдесят два пуда. Тысяча кило...» А Немой улыбнулся и кивнул: давайте, мол. Ну, человек семь-восемь облепили железку, покряхтели, стали наваливать ему на спину эту непостижимую тяжесть, а еще столько же на лестнице притолклось для страховки: решили, хрен с ними, с грузчиками, сами снесем. В азарт вошли.

Он на спину принял и стал по ступеням идти, да на повороте всех и притиснул, которые ему помогали. Кто-то на площадке взвизгнул. Кто-то вниз шарахнулся – явное же сейчас смертоубийство будет и авария имущества. А потом глядят – человек по ступеням тонну несет. Шестьдесят два пуда с половиною.

Из дверей вынес и к полуполторке – ждет, когда борт откинут. Еле-еле потом в кузов взгро-моздили. Тонна. Вес дикий. Мешок зерна пять пудов, а тут – шестьдесят два.

Ну, конечно, народ побежал по цехам рассказывать, а не верит никто. Ладно. Прошло сколько-то времени. Велят Афоне электромотор со склада доставить. Дали ему лошадь с телегой-грабаркой, наряд выписали, спрашивают: «Грузчиков сколько?» А он головой мотает – нисколько не надо. Тут вовсе шухер поднялся. Не верили? Сейчас поглядите! А в электромоторе с ящиком – около пятисот кило. Не тонна, конечно. Но тоже вес для человека неподъемный. Ну, тут дело чистое: привезет – значит, правда, сила звериная; не привезет – брехня. Привез. Вот так-то.

А потом кладовщик рассказал, как дело шло. Складские, сколько их есть, ящик к воротам подтащили. Афоня боком телегу повернул, один борт снял, два колеса снял – телега набок и завалилась, на две оси. Афоня покаты, бревна, окованные для этих дел, на телегу пристроил, а другими концами под ящик. Потом лошадь выпряг, с другой стороны за телегу завел, к хомуту вожжи привязал и к ящику, потом сказал: «Ц-ц-ц...» – и свистнул. Лошадь потянула, и электромотор по бревнам-покатам на телегу полез. Ну а потом все наоборот – Афоня оси приподнимал по очереди и колеса надевал. Чеки вбил, борт поставил. Лошадку запряг и уехал.

Всю заводскую столовую от хохота качало. Вот и проверь у мужика силу, если у него голова на плечах.

Ну ладно.

Рассказал Витька ребятишкам про Немого и про эти дела, и они ему не поверили, что такая непонятная немая сила бывает, а он им говорит: «Ах, не верите, что непонятная сила бывает? Ладно. Сейчас прикажу, и свет погаснет».

– Слабо...

– Слабо?.. Раз – два – три...

Свет погас.

Слышу – тишина.

– Кончай баловать, – говорю. – Давай обратно команду.

Ну, думаю, попался Витька. Ничего. Наука, чтоб не брехал.

Тогда он снова: раз – два – три, – и резиновым верблюдом по стенке стукнул. Свет и зажегся. Все орут – ура!

Я спрашиваю: как сделал?

– Это ж от сотрясения, – говорит он. – Выключатель повернулся. Все дело в верблюде.

Ну конечно! Проводка открытая, жгутом на роликах по стенке идет, может, от сотрясения выключатель и повернулся. Все ясно.

Стали ребята дальше играть, а я на кухню, к верстаку. И вдруг соображаю: а почему у меня свет выключался и включился, если у них выключатель барахлил? На кухне-то выключатель свой. Верблюд резиновый даже не пикнул, когда Витька его об стенку. Какое, к черту, сотрясение? Да ведь и первый-то раз он только голосом командовал!

– Витька... выдь в коридор!

Вышел.

– Ты мне голову не морочь... Сотрясение...

Молчит.

– Ну и как же ты это сделал?

– Не знаю, – говорит. – Сам удивился... я, папка, знаешь когда сдрейфил?

– Когда?

– Думаю, второй раз скомандую, а не зажжется... Так и будем в темноте... Ну я и это... верблюдом помог... все-таки резиновый... изоляция...

– А при чем тут изоляция? – спрашиваю. – Ты дурак или кто?

А сам про себя думаю: а я кто?

Сначала дед со своей магией, теперь Витька...

Но тут сверхчеловеки Рейхстаг подожгли, и стало не до магии, не до резинового верблюда и не до игрушек никаких.

16

...Еще весной хлебные карточки отменили. В булочной после ремонта – на потолке зеркала клинышками, чистота, «жаворонков» сладких продают с глазками изюминными, плетенки румяные с маком, называется «хала».

Люди шли к открытию булочной и тихо покупали хлеб и булки.

Господи! Да ведь порядочному человеку больше ничего и не надо. Чистота, хлеб, небо высокое и семья живая – чудо живое.

И еще книги. Зачем читаю – не знаю.

Память, память, некоторые считают, что память и есть душа. Вряд ли.

Поехали Зотовы всей семьей в отпуск в город Вязьму жить на окраине. В этот год там подешевле еда была – творог, ягоды. Детей к зиме подкормить.

Зотов с женой и сыночком поехали и две жены его братьев с детьми. Одна жена Николая-второго, другая – Александра-третьего. Санька-Пузырь по торговой части: распределители, отто, брутто, нетто, тара, недовес, недолив, усушка, утруска, провес. А Николай в Цветметзолоте: канцелярия с тайгой пополам – рудники, контракты, золотишко, драги. У Кольки зарплата высокая, у Саньки пайки и так доставал. Колькина жена деньгами не стеснена, Санькина – колбаса копченая, шпроты, сливы соленые – называется маслины. Одна горечь, а жрет, и ничего.

Сынок мой на меня поглядывает – может, он думает: «А в чем твоя отличка, Зотов Петр-первый, токарь-пекарь, станочник, философ-пешеход?» Только что дылдой вырос и, когда бабу за руку беру, баба млеет? Да что толку? Жена Таня рожать не хочет.

– Нет, – говорит. – Если б ты меня одну любил, а так что ж... Тебе все равно, от кого дети, от меня или от любой. Старшенький у меня живой, здоровый, своей семьей живет, второй

сыночек у меня умер от холоду, третий – приемный. Внук Генка растёт-подрастает, а более не хочу. Гуляй с кем знаешь, только семью береги, разводы сейчас легкие. Не бросишь?

– Куда ж я от вас? – говорит.

«И то верно. Куда же я от них? Я как подумаю, что с ними какой-то другой долдон будет или они вовсе одни останутся, – у меня сердце перехватывает. Не могу я себе их представить брошенными. За что? Не за что. Нищету выдержали, войну пережили, голод выдержали, выдержим и скуку. А они мне родные, как рука или там нога. А с рукой или ногой не разводятся...»

– А на баб мне твоих наплевать, – говорит Таня. – Одного я тебе не могу простить – твою тайну...

А тайна моя – могилка полузабытая, бурьяном заросшая, и курский соловей над ней поет. Женщины для меня все одинаковые, а соловья забыть не могу. Где ты, Машенька?..»

А жены братишек зотовских ругаться начали, как в Вязьму приехали, и друг перед другом величаются: «Мой муж! Мой муж!» Одна деньги не глядя достает из портмоне, другая колбасой копченой угрожает. Вот дуры! Обе телесастые, у обеих юбки выше колен и халаты распахиваются. Цветметзолотая в канцелярии сидит, считается – работает, а торговая и в канцелярию не ходит, дома греется. Цветметзолотая орет: «Тебе хорошо! Дома сидеть! А ты поработай, походи на службу, я посмотрю, какой у тебя дома порядок будет и какая ты сама будешь!..» А сама халда халдой, нечесаная, чулок перекручен, халат сикось-накось, рот не вытерт – хоть крась его, хоть так оставь, как есть. Другая, торговая жена, Санькина, правда, почище будет. По дому быстро все уладит, обед сварит, простирнет что надо и маникюром намажется, и педикюром, и помадой, – ягодка, будто и не хозяйствовала.

Три комнаты сняли у трех хозяев на окраине Вязьмы. А вместе жить не стали. Невозможно. У каждой свои дети, Зотов один мужчина в отпуску.

Таня говорит:

– Смотри, чего твои братья достигли! Еще год-два – и начальство. И жены образованные. А ты как был... И от меня бегаешь.

– Я от тебя не бегаю, Таня. Моя душа всегда с тобой, и с детьми, и с дедом, и с бабушкой нашей тишайшей. А эти нам чужие, и Кольку с Сашкой к чужим занесло, и это скажется.

Сыночек приемный к тому времени чтение освоил полностью и читал всю – уж этот Зотовым родной и в род их пошел. И все слова, которые в смысл складываются, ухватывал на лету и с пониманием. А болботание отвергал и чурался. И Зотов с ним и с Таней полдня по травам ходили, и среди камышей, и по мхам, и на цветы смотрели, и на облака, а полдня книжки читали – Зотов за домом, в лопухах, а сыночек капустный, громобоевский отпрыск, зотовское отродье, на чердаке – в нашем доме или в соседних двух. Хозяева разрешили и пускали в чердачной трухе копошиться под ледяной или жаркой крышей – по погоде. Там всегда рваные книжки водились.

Зотов, конечно, знал, что путного там едва ли сыскать – календари старые, «Нива» за девятьсот лохматый год да история Иловайского для начальных классов гимназии и реального училища – примитив: этот князь был хороший человек, а этот князь был плохой человек, вот и вся история. По этой истории выходило, будто того, кто писал, и того, кто читал, вовсе не было, а были Рюриковичи-варяги, потом Романовы-немцы, и на том жизнь на земле закончилась, не начавшись.

Однако капустный сынок Громобоев полагал иначе и с чердака не слезал. И ведь отыскал, стервец, книжку себе в назидание.

Ценности она, может, не представляла ни по узорному слову, ни по мудрости, да и прочесть ее почти что нельзя было – рванина и сало от беспечальных и бесчисленных пальцев, но, с другой стороны, это и есть признак, что кого-то и когда-то и почему-то эта не старая еще книжка за собой вела. Называлась она «Два Сфинкса», и рассказаны были в ней три истории

про то, как в египетские времена, и в христианские времена, и в нынешние времена любили друг друга двое, но все время вмешивалась третья. И всегда это было одинаково, и во все времена разлука.

Смотрит Зотов: капустный сын задумался, а он книжку прочел и тоже знает, о чем сын задумался, – время пришло.

Но вот он спрашивает:

– А куда мы деваемся, когда нас нет?

– После смерти мы распадемся, – говорит Зотов.

– А до рождения где мы были?

– До рождения – часть в отце живет, часть в матери, называется «клетка».

– Значит, две наши половинки, – говорит он. – А до этого?

– В бабушке и дедушке были, – отвечает Зотов.

– Значит, и в них я был?

– А как же?

– По четвертушке?

– А?

– А в прадедушке и в прабабушке по восьмушке... и так далее...

– Что?

– Значит, тыщу лет назад от меня почти ничего не было, а две тысячи лет совсем почти ничего... А в самом-самом начале?

– И вовсе не было.

– А откуда же я тогда взялся?

«Эх, милый, – думает Зотов, – если б знать, откуда мы взялись, то, может, догадались, куда мы деваемся, и придумали бы, как не уходить никуда».

– Нам в школе сказали, что Бога нет.

– Ну?

– А если я тебе скажу, что ты бог? – спросил он. – Ты согласишься?

– Нет, – говорит Зотов.

– Почему?

– А если я тебе скажу, что ты бог, – ты согласишься?

– Я поверю, – сказал он.

Зотов у него книжку отнял, а он улыбается.

– Хочешь, чудо покажу? – спрашивает.

– Жарко, – говорит Зотов. – Лучше уж, когда попрохладнее, ладно?

Тут как ветер дунет, как рванет песком и пылью.

– Ты потерпи, – говорит. – Сейчас прохладней станет.

– Пойдем-ка, друг, домой...

Тут молния в водокачку шарахнула и гром ударил. На водокачке железный прут раскачался и раскалился, а конец громоотвода сияет и дрожит. У самых камышей по серой воде реки – как пулемета очередь.

А по пыльной дороге голубиные яйца скачут. Черное небо на деревьях повисло. Молнии вдоль дороги змеями выются, а градины огромные от земли рикошетом – в воздухе сталкиваются. Зотова кто-то под навес вталкивает. А это не навес вовсе, это они под силосную башню попали, под кирпичные стояки, под недостроенную. Там народ сбился, и там он Таню обрел. Обнялись. Стоят. Ничего не поделаешь. Дрожат.

Как все кончилось и буря ушла, смотрят – по булыжнику телега тарыхтит, а на телеге с кирпичом братнины жены с детьми глаза тарыхтит, брезентом накрытые, а рядом дядька двух коников погоняет: «Ц-ц, но-о, кургузые, но-о, ласковые!» – а коней в поводу капустный сынок ведет. Витька Громобоев, мокренький, одиннадцати лет от роду. Вышли, догнали их.

Добрались до своей улицы. Женщины слезли, по домам пошли. Сыночек их детей повел. Зотов его дождался, слушал, не болит ли где от голубиных тех яиц, небесного льда обломков, и спрашивает:

– Ну как, детишка?

«А он мне:

– Не говори никому про наш разговор, ладно?

Что я, псих – рассказывать? Град – он погода. Пронзительный ветер».

Но с этого града перестал он от Тани гулять. Как отрезал.

А Таня расцвела тихим светом.

17

А в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году были они в осенний выходной день в гостях у деда, и там произошел разговор о свободе воли, имевший загадочное окончание.

То ли от того, что в мире творилось, то ли после того града в Вязьме и бури белой немислимой – сблизилась они в семье, будто разглядели друг друга.

– Петь, да ты никак полюбил меня? – спрашивает Таня.

– Выходит, так.

– Петя, а ведь у меня уж внуку шесть лет.

– В нашей семье внуки ранние... Мы-то с тобой когда слюбились? А? Забыла?

– Это надо же... Выходит, я в сорок шестом прабабка стану?

– Таня, ты в случае чего мои тетрадки сбереги.

– А в случае чего?

– Ну мало ли...

В этом году Бенито Муссолини сокрушать Абиссинию поехал. Фашизм внутри окреп, созрел, внешнее наступление началось. Гнойный прыщ лопнул.

– Ну, похоже, что реализм кончился, – сказал дед. – Начинается сон и мрак... Сверхчеловеки мир сокрушать поехали.

А Витька вскинулся вдруг и спрашивает:

– А сверхчеловеки – это кто?

– Это которые свободой воли балуются и живут во сне, – отвечает дед.

– А свобода воли – это что?

– У отца спроси. Он теперь на четыре копыта кованный.

А Зотов уж к тому времени сквозь дебри проломился и мог своими словами говорить. И ясно видел, что все, кто полагает, будто мир таков, как его левая нога хочет, – либо жулики, либо мимо чего-то реального на деревянных конях проехали.

Имена в философии почтенные, школы научные, ученики ученые. Господин Шопенгауэр со школой, господин Гартман со ученики, господин Ницше с поносом, господин Штирнер в малой шкапе со жулики. Люди умные, не отнимешь, безграмотностью не огорченные, рассуждения у них звонкие, остроты до хохота смешные, а видения сонные, и все карусель на одной оси вертится: что моя левая нога хочет, то и есть, а также правая. И чтоб была пирамида из людей, а на вершине ее – унитаз небесного цвета, а на нем один, который всех одолеет, потому что его свобода воли, волюнтаризм его, этого схотел.

И крутит та карусель мимо жизни, и тошно людям смотреть на ту карусель. А им, с каруселями, этого не видно. Потому что суть жизни не в голове и мнениях, а в том, что есть на самом деле, в человеческих усилиях согласованно выжить телом и духом; и в том, что люди для этого придумали, – это и есть жизнь.

И все школы с «абсолютами» и «миром как воля и представление» выросли из одной мысли давнего человека, грубого и правдивого.

Звали его Дунс Скотт, и он необоримо доказал, что ежели Бог есть, то Бог есть неограниченный произвол, поскольку Ему никто не указ.

Все только рты разинули – никуда не денешься: если Бог есть, то Он всемогущ, а если всемогущ, то чего он хочет, то и будет. А это и есть неограниченный произвол.

Дунс Скотт первый из всех поставил точку, последнюю. Ну а у всей последующей карусели – труба пониже и дым пожиже, и, чтобы не признавать, что основа всего труд и кто не работает, тот не ест, запустили иную карусель – «чего моя нога хочет», – однако ничего своего оригинального после Дунса Скотта не придумали... Только Дунс Скотт был человек честный и доказал, что произвол доступен лишь Творцу вселенной, ежели Он есть, а остальные уговорились считать, что неограниченный произвол доступен и шустрому.

А шустрых много, и произвол одного натывается на произвол остальных, однако без труда не выловишь и рыбку из пруда. А есть-пить даже господину Ницше и господину Штирнеру, апостолу эгоизма, надо. И хочешь ли, нет ли, а придется проснуться в крови и злобе несусветных видений.

Все это Зотов Витьке растолковывал, надеясь на некоторое приблизительное его понимание, а потом оробел и спрашивает:

– Витька... ты чего-нибудь понял, что я про баловство со свободной волей говорил? Тебе ведь уже двенадцать...

– Понял, – сказал он. – Баловаться нельзя.

Таня засмеялась, и дед засмеялся, а у Зотова вдруг шевельнулось, что Витька нарочно пацаном притворяется. Спокойней ему, что ли? А дед говорит:

– Никак директор к нам пожаловал.

– Щекин, что ли, Ванька? – спрашивает бабушка.

А в том году, надо сказать, старики-мастера в ход пошли. Надо новую технику осваивать. Стахановцы, совещания производственников, а также школы передового опыта и, стало быть, шефство старых мастеров над молодыми.

Деду семьдесят четыре, мастер – поискать такого. А вот насчет шефства над молодыми – сомнение. У деда слава – книжник и озорник. Такого опыта напередает, что, может, лучше и погодить его передавать. Потому что лозунг дня теперь стал не «техника решает все», а «кадры решают все». Однако «кадры решают все» – для освоения все той же техники. А дед не соглашается с этим ограничением. И это известно всем.

И потому директор Щекин Иван сам пожаловал.

– Здравствуй, Ваня, – сказала бабушка тишайшая.

На заводе тогда некая запинка в делах наступила, а замом Щекина был увлекающийся Найдышев, который все гайки подкручивал для пользы дела.

А директор знал: если дело на заводе вразнос пошло, значит Зотовы к нему охладели и никакое подкручивание гаек не спасет. Подкручивать гайки можно, если Зотовы тебе верят, и это можно сделать один раз, ну другой. А если не верят – все впустую, и директора снимут. И во второй раз в сверхсильного директора не поверят. А начнет кто гайки закручивать – резьбу сорвет.

– Ты, Зотов, не обобщай, не обобщай... Ты дообобщаешься, – сказал Найдышев-увлекающийся.

– Чихал я на тебя, – сказал Зотов-старший.

И Щекин вызвал деда к себе.

– Не жми, резьбу сорвешь, – сказал ему дед. – Директор в своем деле должен быть изобретатель, как токарь, иначе его никакой план не спасет... Тебе дали план – и соображай, как быть... Глупый директор работает с бумагой или станками, а умный с людьми... Будь с

людьми умный – они остальное сами сделают. А то один раз приказал – сделали, другой раз приказал – не хочется, а третий – халтура или разбегутся, и дело стоп. Имей подход. А то у нас как? Либо приказ – смиrr-на! На-апр-пра-гу! На-а-ле-е-гу!

– Не ори, – сказал директор. – Люди же кругом.

– Либо лебезят, угодничают... любому паскуде в ножки кланяются, чтоб только работал. А то, не дай бог, осердится и с работы уйдет... А куда уйдет? В жулики – не всякий, а на другой завод пойдет. А ты имей другой подход.

– Так какой же, к черту, другой подход? Ничего другого не придумано.

– А уважать не пробовал? – спросил дед.

– Конкретно. Болтовня надоела, – резко сказал директор, как сплюнул. – Конкретно.

– А конкретно – каждый чего-нибудь знает. Уважать – значит советы выслушивать. Тогда человек становится веселый и гордый и в своем деле не шкура.

Так они на заводе споры спорили, а теперь Щекин пришел уговаривать деда передавать нужный опыт, а ненужный не передавать.

И опять они схлестнулись насчет разделения труда в обществе.

А Зотов-младший глядел в осенний двор, где у сарая неизвестного назначения тщился восстать и воздвигнуться таинственный пьяница в сером кепи козырьком назад, дабы козырек не мешал ему елозить ликом по сараю.

Дед с директором спорили, а Зотов, как и дед, не хотел, чтобы его голова бегала от него отдельно и называлась «специалист Иван Иванович», а он был бы только руки и ноги и умел делать детей. Потому что это не есть разделение труда, а расчленение трупа. Он цельноскроенный и цельнорожденный человек, а общество – это не машина, а федерация и союз. И если сравнивать общество даже с организмом, то и в организме еще неизвестно и дело темное – то ли руки работают, потому что голова думает, то ли голова думает, потому что руки работают. Ну и будьте любезны.

Дед спросил директора:

– «Радость» знаешь от какого слова?

– Ну?

– От слова «рада», что означает «совет», то есть со-ведение, совместное знание. А если у меня радость ушла, значит мое ведение никому не нужно. И чтобы была радость, нужен совет: чего ты знаешь, я не знаю, а чего я знаю – того ты не знаешь. И совет – это копилка жизни, где знание в оборот пущено. И когда с человеком советуются, у него радость. Или не прав я?

– Прав, – сказал директор Щекин. – Теоретически.

– И практически.

– А практически – приказ есть приказ, – сказал директор, – потому что война на носу.

Газеты читаешь?

– Я и без газет знаю, – сказал дед.

– Откуда же?

– Я при капитализме жил и действовал, а ты сиську сосал – вот и все твоё действие, – сказал дед.

– Тебя не переспорить.

– А со мной хоть спорь, хоть не спорь, я правду говорю.

– Правду! Правду! – закричал директор, будто убегая от чего-то. – А дисциплина нужна?

Нужна?!

– Со-знательная, – сказал дед. – Со-ветская, иначе – радостная.

– Рассуждаешь, – крикнул директор. – Начетчик ты, как этот, как фарисей!.. А хочешь, я пример приведу? Прямо в дом приведу! Хочешь?! Я думал, он ушел, а он по твоей двери ползет, можно сказать, стучится.

– Кто?

– Да пример! Пьяница этот чертов. Вот, слышишь?

– Неужели не ушел? – спросил дед.

Зотов открыл дверь. Пьяница ввалился и по стене сполз на корточки.

– Вот она, правда, – сказал директор и даже повеселел. – И давай посмотрим правде в глаза.

– Не получится, – сказал Витька. – Они у него не раскрываются.

Директор захохотал.

– Да-а... конфуз, – сказал дед.

– Ему, наверно, идти некуда, – высказался Витька.

– Ты кто такой? Кто такой? – громко спросил директор пьяницу.

– Кто такой, кто такой... Анкаголик! – ответил мужик, не открывая глаз.

Директор махнул рукой и продолжил, горячась.

– Речь идет о сознательной совместной работе, – сказал директор. – Сознательной и совместной – тогда можно планировать. А когда вот этакое... – Директор опять кивнул на малого. – Кто ты такой?! Ну кто ты такой?!

– Р-рабочая сила, – неожиданно ответил тот. – С твоего завода трудящийся...

– Ну вот... – сказал директор. – Ясно? С какого завода? С нашего?

– Нет, с твоего, – сказал Анкаголик и наконец открыл глаза. – Ты – хозяин, я – рабсила, ты в-велишь, я делаю, а к-когда не в-велишь, я пью. Такое мое з-занятие. Имею право?

– Как твоя фамилия, быстро... – Директор начал тяжело дышать. – Быстро, фамилия!

– ...Тпфрундукевич! – быстро ответил тот и всех оплевал.

Витька заржал и попытался повторить: «Тпфрундукевич» – и тоже всех оплевал.

– Ладно... Милиция разберется, – сказал директор, опять утираясь.

– Мать... накорми его, – сказал дед.

– Молока поешь? – спросила бабушка. Анкаголик кивнул.

Так в одна тысяча девятьсот тридцать пятом году закончился разговор о свободе воли. Неужели, думал Зотов, и этот – Фрундукевич – тоже вселенная? А в нем-то что?..

18

А что было в тридцать шестом?

На сороковинах по дяде Васе-истопнику было негромко. Не то что после кладбища, когда вдова Селезнева, готовясь к поминкам, причитала на весь двор:

– Дру-жеч-ка ты мо-я!.. Да на кого же ты меня по-ки-нул?! Кланя, гляди, картошка не подгорела, а?! Дру-жеч-ка ты мо-я-а-а! Клань! Слышь, что говорю?! Дру-у-жеч-ка-а...

Ну и так далее. А под конец старшая истопникова дочь, Нюшка, сказала гостям шалившим: «А ну пошли отсюда!» – и розово и сочно оскалилась. За это, а также за резиновую обливную фигуру была Нюшка местным игрушечником прозвана Миногой.

Однако эта кличка была как бы стрела, скользнувшая мимо, поскольку тот игрушечник был с мечтой в голове и не промахивался только в сказках. И потому Нюшка Селезнева раздалась в телку и погасла обыденно.

А зажгла та соломенная огненная стрела кличку Минога над совсем другой женщиной, и засияла она телесным очам невидимо, а лишь духовному зрению очевидно.

Стала жить у Селезневых их племянница, Евдокия Копылова из Серпухова, двенадцати лет.

Ее Витька мой разглядел первый.

Сначала заметили, что любит безопасные костры жечь на берегу Оленьего пруда в Измайлове, в старой кастрюле с дыркой для тяги. Горит костер, она смотрит. Потом заметили, что костер она зажигает перед каким-либо неблагополучием. И оно оправдывалось, и костер тот

был предупреждением. А потом заметили ее отказчивость от всего, что не по ней, и небрежное пристальное внимание ко всему.

Подбородок чуть острый, золотые волосы как попало заколоты. Встанет – руку в бок, нога в сторону повернута, будто пляшет, другая рука, в локотке согнутая, далеко от лица отставлена, и розовые пальцы держат длинную голенастую травину, а другой конец стебля она покусывает белыми зубками, и губы кажутся будто пересохшими, будто опаленными и запекшимися в неодолимой жажде расцвести.

– Чудо... – сказал дед, и один человек кивнул – Витька Громобоев.

Худенькая еще, сама как камышинка, но Витька не иначе зарю увидел, рассвет, с перстами пурпурную Эос.

Костер горит на берегу. Ни ветерка. А окликнешь ее – исчезнет, будто и не было.

Гибкая она была.

А костер горит на берегу, на Оленьем пруду в старой кастрюле, – предвещает неблагополучие.

Чтоб узнать, как сегодня жить, надо приглядываться к тем, кто завтра придет, – к детям.

А тут пошла такая полоса: когда двор подметать – и то стройными рядами. Стройными рядами к светлому будущему – будто полк по дороге пылит, так ведь дороги-то эти еще прокладывать надо. Ну это в счет не шло.

Кто стандарту поддавался, а кто нет.

Минога не поддавалась. А в чем? Того никто определить не мог. Потому что определить – значит поставить предел. А как предел поставить, если она ни на кого не похожа?

Определили ее в новую школу, а за ней мальчишки стадом, и все физкультурники.

– Она мешает процессу учебы, – определили в школе.

– Я думаю, учеба должна начинаться с нее, – задумчиво заявил Витька.

Тогда в школу вызвали Зотова.

– Ваш сын за нее заступает... Эта девочка своим поведением кого хочешь с ума сведет.

– Уже свела, – говорит Зотов.

– Понимаете... Она не как все.

– А может, все не как она?

– Так не бывает... Не может весь полк идти не в ногу, а один господин поручик в ногу.

Логично?

– Логично, – говорю. – Ежели полк по дороге идет. Но по мосту в ногу не ходят. Мост обвалится. Любой ротный знает. И по грибы в ногу не ходят, и гуськом тоже.

– Что же, мы должны под ее дудку плясать, так, по-вашему?

– Нет, – говорю. – Это она не хочет под вашу дудку плясать.

Конфликт на принцип пошел.

– И вы не как все, – говорю. – Все не как все. Потому человечество и развивается.

– Зачем они на нее накнулись? – спросил Витька. – Все скопом... Учителя – нет, а учительницы – все скопом.

– Для удобства процесса обучения.

– Жуть, – сказал он.

– Не дрейфь, парень... Это все во имя логики... Но в ней зерно страшной ошибки, которая не становится роковой, потому что в решающий момент на логику плюют, – сказал Зотов ему, как самому себе. – Витька, формальная логика годится для неживого. А живое лишь соглашается ее проверить. Но потом оно расстается с ней и начинается живое поведение.

– Вот! – сказал он.

– Непонятно.

– Что-то родилось, – сказал юный Громобоев. – Ну я пошел...

А кличка Минога прилипла к Евдокии, которая не поймешь, когда вверх вывинтилась.

Ну такая стала прелестная, строптивая – глаз не оторвать. Когда она в Измайлове на Оленьем пруду плескалась, мальчишки пластами в траве лежали – подбородками в кулаки – и глядели.

А однажды Витька Громобоев опустился к воде и стал тритонов в банку ловить. Она обернулась, он тритонов в пруд выплеснул.

– Чего тебе?

– Сиринга, – сказал он.

А она саженками через пруд на тот берег.

Он – кругом по берегу. Добежал – там нет никого. Скрылась, как не было. Ждал он ее, ждал. Вернулся назад – а и одежды ее нету.

Стал он в свою банку свистеть: бу-у... бу-у... Потом банку в кусты закинул и срезал бузинную веточку.

К ночи, когда Зотов уже засыпать начал, вернулся с дудочкой в четыре дыры. По-нашему – жалейка, по-бессарабски – флуэр.

А наутро дворникова вдова с дочкой и племянницей к родне уехали в Серпухов.

Хотел было он за ней, да бабушка не пустила.

– Школу надо кончить, голубчик.

– Какую школу?... Какую школу? – спросил он, прикрыв пустые от скорби глаза. – Этой школе тысячи лет...

– Я тебя не пойму, голубчик, – сказала бабушка. – Не напускай на меня тоску, ладно? А то ведь не выдержи.

– Ладно... – сказал он и стал делать най из бузины.

Най – это дудка такая бессарабская, вроде губной гармошки или футбольного свистка, из многих свистков сложена.

А полюбил Витька, оказывается, навеки.

19

Такая полоса.

Немой зотовский в землю смотрит. И ни о чем не говорит, поскольку он немой. Забрел к нему Анкаголик, что-то сказал, и они ушли из дому, да через сутки вернулся немой Афанасий с девочкой на руках, на вид лет восьми. Хорошо одетая и бледненькая. Волосы каштановые, шелковистые, прямые, недлинные. В коридоре на пол поставил и руку ей на голову положил. Даже не так было. Пришел откуда-то с ребенком на руках, опустил на пол и ввел в комнату. А уж потом на голову ей руку положил, и она не стряхнула, а только смотрит. «Мы на них смотрим, они на нас. Что сказать, не знаем, а у всех одна догадка – ясное дело, что темное дело. Никто не знает, как быть, кроме немого Афанасия с бешеным взглядом да бабушки нашей тишайшей».

– За стол, за стол. Еда стынет, – сказала бабушка. – Сейчас супчику поедим. Перловый, с говядиной. Тебя как зовут?

– Оля.

Никто Немого ни о чем не спрашивал, потому что он немой. Так и осталась Олечка у Зотовых – тихая девочка, неразговорчивая. Бумаги все при ней. Немой повел ее сперва к Соколову, начальнику всей благушинской милиции. Чудесный мужик Соколов, фигурой медведь и лысый. Как они там разговаривали и куда он звонил – а это точно, и все об этом знали, а тогда мало кто звонил, – но только после Соколова Зотовых тоже никто ни о чем не спрашивал, а осенью Олечке в школу идти вместе с Генкой, сыном Сереги и Клавдии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.